

АЛЕСЬ САВИЦКИЙ

ЛЕСНАЯ ПРИСТАНЬ

РОМАН

Почему-то теперь, когда затих выветленный вечерним солнцем лес, когда резво топал и хорошо тянул конь, Шаплыко упал духом. Погасшая папироса, словно продолжение глубокой складки около губ, зависла в правом уголке рта; папироса изредка шевелилась, словно толстый ус, который приклеился к нижней губе, и снова замирала. Правая рука всё время в движении: зажатой в ней тряпкой с мокрым песком она упорно шуровала лезвие ножа, зажатого в левой. Уже, кажется, давно надо бы бросить это занятие — блестит же лезвие! — а Шаплыко никак не успокоится: посмотрит на нож, прищурит глаз, покрутит, поплюёт — и снова с настырным упорством, как заведённая, движется рука, точит лезвие ножа. Видно, о толстяке думает, старается, чтобы и следа от рук того поганца не осталось на ноже.

— Яблоч в этом году нарастёт, — с распевом проговорил Шаплыко и, размахнувшись, швырнул тряпку в ельник, который вплотную подступал к лесной дороге. — Наверное, везде так, как у залесцев — даже листьев не видно. И тогда, и теперь меня грызёт мысль: неужели фашист будет их жрать?

— Пока яблоки созреют, фашиста этого погонят назад. Сам же говорил: поплятят они домой без оглядки, да ещё им подмажут пятки, — ответила Настя.

Шаплыко тоскливо хохотнул.

Припоминая события прошедшего дня, Настя решила, что дело совсем не в счастливой судьбе — и об этом говорят все факты! — а в определённой тактике Шаплыко. В отношении к бывшей продавщице и толстяку он вёл себя уверенно и смело. А на винокурне, когда искал бывшее начальство, действовал не просто с напором, а скорее чрезмерно отчаянно и дерзко.

* Окончание. Начало в №4 за 2010 год.

Роман публикуется при участии Международного сообщества писательских союзов (МСПС). Перевод с белорусского Нины Чайки.

Теперь на телеге, кроме того, что взяли у бывшей продавщицы, лежал мешок картошки, полпуда крупной ядрицы, которую бывший кладовщик винокурни, ласково улыбаясь Насте, отдал вместе с новым чугунком. Был ещё ладный, килограмма с два, брус сала, завернутый в чистое полотенце, а также ведро, в котором под широкой чёрной сковородой позванивали, когда воз трясло на корнях, четыре погнутые эмалированные миски с остатками розовой окантовки по краям и пять ложек из тёмного, как мокрый пепел, дюрала. На задке воза горбились два ватника военного образца, длинный брезентовый плащ и клетчатое пальто без воротника — всё это Шаплыко прихватил в здании бывшей конторы винокуренного завода.

На душе было тревожно и скверно. Радость оттого, что они выбрались из беды, окончательно развеяли невесёлые слова Шаплыко.

“Кто ж знает, чем всё это обернётся”... Что он имел в виду?

Шаплыко неожиданно рассмеялся, папираса, похожая теперь на обожжённый гороховый стручок, тряслась вместе с губой:

— Ох, и попылил наш Стас! Трава, наверное, раскалилась под его подошвами. Падла! Это же он на станцию попёр и немцев на нас наслал. Кажется, синела на машине его рубашка. Видела?

— Я не рассмотрела. Но одно ясно: немцы узнали, что мы были на винокурне, потому что мчались именно туда.

— Толстяк, наверное, своему дружку дал знак. А я тот знак, балда, не заметил. Надо было, теперь жалею, шпокнуть его...

— Ты что? — вырвалось у Насти. — Стрелять в своего человека?

— Он такой свой, как папа римский. Пальцы его видела? Это же когти хищника! Я сразу догадался, куда гад нацелился, когда он к ножу потянулся. Сижу, как будто вправо наклонился, — сделал вид! — а ногами твёрдо в землю упёрся. Потому и успел прикладом колотнуть его. А если бы не успел? Он бы с нами не церемонился. Сюда, гад, ножом целился. — Шаплыко похлопал себя по левой стороне груди. — В сердце метил. И имей в виду: война — не игра. Или ты — его, или он — тебя. Железная логика.

— Страшная твоя логика.

Шаплыко потёр ладонью подбородок, сжал его так сильно, что около пальцев побелела кожа. Голос его прозвучал задумчиво и грустно:

— Да нет, это не моя логика. И вообще если рассудить... Ты мне скажи, куда подевалась наша сила? И где наши армии, как будто испарились? Толстяк с таким напором и полез, потому что мою брехню по поводу нашего полка хорошо уловил. И вот мучает меня одно и то же: как случилось, что фашист нас так погнал?

— Ты же сам говорил: отступаем временно. Чтобы разгон взять. И мне эта мысль очень по душе пришлась.

— Ха, говорил! Туман тем гадам напускал. И тебя, между прочим, этой чутью утешал. Ну, на полсотни километров отойти — понимаю. А когда на пятьсот попёрли? Почему? Вот что ты мне объясни, пожалуйста!..

Шаплыко страдал искренне. Он больше не старался показать себя уверенным и бодрым, и эта его растерянность угнетала Настю.

— Неожиданное нападение, — сказала она, начиная злиться, что они вдруг поменялись местами, и не она, а он у неё ищет поддержку. — У нашего командования наверняка есть свои соображения, которые, естественно, нам неизвестны.

— Поторопился Грач, замполита не назначил. А ты на эту должность тянешь.

— Дался тебе Грач...

— Нашёл дурака Шаплыко, назначил комендантом, бросил в лесу. А сам — фью-ють!

Настя спрыгнула с подводы, выпалила гневно:

— Не имеешь права!.. Не имеешь! Я запрещаю тебе так о нём говорить!

Шаплыко сморщился, наклонил голову и посмотрел в Настины глаза с усмешкой. Голос, тем не менее, прозвучал серьёзно:

— Всё, японский бог, правильно! Не имею... Тут ты глубоко берёшь. Но скажи, положила руку на сердце, что мы в этом лесу высадим? Молчишь?..

Шаплько вытащил из кармана кисет с махоркой, который, неизвестно чем растроганный, подарил ему бывший кладовщик винокурни, потом спрятал его и взял с плащ-палатки окурок. Прикурив, потряс коробок в руке и вздохнул:

— Спичками мы слабо расстарались. Стас, чтоб ему пусто было, всю обедню испортил — все мысли о спичках тогда из головы выскочили. Ничего не поделаешь: будем от уголёчка прикуривать. Кладовщик, правда, один коробок отжалел. — Шаплько выпустил дым струйкой себе на ладонь, сжал кулак, словно ловил синенькое облачко. — Обо всех нас разговор. О нашей общей судьбе надо пораскинуть мозгами. наших же хлопцев раненых в лесу одних не бросишь. А в деревню, как ты заметила сегодня, не больно-то вломишься. Такой Стас или Яночка всегда найдутся. Меня, чтоб ты знала, об этом Грач предупреждал. А человек он опытный.

Шаплько сказал это спокойно, без иронии. От этого у Насти поднялось настроение, сердце её успокоилось. Грач — человек славный, мужественный и добрый. Даже Шаплько теперь говорит о нём с уважением. А ведь у него есть основания обижаться, попрекать, даже ненавидеть его. Ведь сватов обещал заслать, когда война окончится, на вечную верность, пусть и шутливо, присягал. А всё вон как повернулось непредсказуемо!

“Грачок... Грачок мой!..”

Вздогнуло сердце, и в него ворвалась жаркая волна...

Шаплько натянул вожжи: “Тпру-у...”

— Ты туда посмотри, — он кивнул головой на задок воза. — Примечаеть, какая верёвочка за нами вьётся?

— След мы оставляем, — дошло до Насти, потому так и встревожился Шаплько. — А там, где дорога усыпана хвоей, он совсем незаметен.

— Да везде он виден, японский бог, если присмотреться. Одним словом, рисуем чёткий указатель фашисту, как нас найти.

— Может, нам по лесу...

— В разумную сторону мысли направляешь, одобряю. Так и сделаем.

Шаплько решительно повернул коня с дороги. Вскоре они выбились к густому, молодому сосняку, и тот как бы сразу расступился, открыв неширокий пробел в посадках. Пахнуло знакомым сладковатым ароматом люпина.

— Что-то уж очень знакомый сосняк... И правда: мы тут уже были, — Настя от души обрадовалась, соскочила на землю. — Точно, вот, с той стороны я тогда подходила...

— Следопыт ты прирождённый, всё примечаеть. Давай к Вахтангу заглянем...

С каждым шагом Настя чувствовала себя всё увереннее. Да, именно в этот пробел она тогда и повернула. Берёзы остались позади, они выходят на ту поляну, только с другого конца люпинового шнура. Сладковатый аромат становится всё сильнее, даже голову кружит. Широкий, беловатый след стлался за Шаплько, и Настя шла по нему, словно по мягкому ковру. Мелькнул бугорок, зажелтел вдруг, словно выскочил из зелёного люпина. Шаплько стал на колени около него и, опираясь одной рукой на карабин, старательно и медленно выводил карандашом на затёсанном берёзовом столбике:

“Вахтанг. Погиб героем. Тысяча девятьсот сорок первый”.

Настя была потрясена:

— А фамилия?

— Допиши, если ты её знаешь, — огрызнулся Шаплько и, согнувшись, начал рисовать рамочку; столбик был затёсан не очень гладко, и карандаш тихо скользил по волокнистому дереву. Насте казалось, что никаких других звуков, кроме этого тихого шороха графита, в лесу не существует.

Назад возвращались молча. Настя видела, что Шаплько чем-то угнетён, всё время хочет что-то сказать, но тут же глушит свой порыв...

Он распряг коня.

— Ну что, грузимся?.. Хотя нет, подожди... Из ватников сделаем седло, плащом прикроем, а тогда уже... Спину коню сохраним, не натрём.

Конь захрапел, когда на него взвалили поклажу, замотал головой.

— Мягко, дружок, мягко. Как себе делал.

— А как же картошка? — удивилась Настя. — Разве не берём?

— Завтра сюда верхом подскочу. А вот ведро прихвати. Придётся тебе нести. Силёнок хватит?

Она решила, что Шаплыко её испытывает, быстро схватила ведро, в котором лежали миски и графин со спиртом, завёрнутый в старое пальто без воротника. Ведро было не очень лёгким, но она не призналась, сказала бодро:

— Как-то донесу...

— Э-э, ты нос не очень-то задирай. Когда почувствуешь, что устала, скажешь, остановимся, отдохнём.

Вначале люпином, а потом сосновыми ветками они забросали на подводе мешок картошки. Шаплыко вытянул из кармана тетрадь, вырвал лист и большими буквами написал: “Заминировано”. Немного подумав, подчеркнул дважды и поставил три восклицательных знака.

— Ты думаешь, поверят? — Настя едва сдерживалась, чтобы не расхохотаться.

— Зато не сразу подступятся. А, скорее всего, затылок почешут и дальше пойдут: не мы, мол, бросили, не нам и брать... Ну, двинули.

Довольная, словно только и ждала команду, Настя потопала следом за Шаплыко. Всё внимание теперь занимало ведро, которое с каждым шагом становилось всё тяжелее.

— Давай поднесу, — добродушно предложил Шаплыко, заметив, что Настя всё чаще меняет руки.

— Нести не тяжело, только неудобно. Ручка за всё цепляется. Она какая-то широкая, какая-то нелюдская...

Шаплыко взял ведро, какое-то время нёс, потом перехватил дужку в левую руку, хмыкнул:

— Действительно, нелюдская. Надо попробовать его к мешку пристроить. Как раз и место определилось — осела поклажа...

Шаплыко привязал вожжами ведро к мешку и с наслаждением потёр напряженные ладони.

— Кажется, ничего нет тяжёлого в этом ведре, а вот освободились от него — и словно гора с плеч свалилась. И телу легко, и душе.

— Уверенно себя чувствуешь, когда руки свободные, — призналась Настя.

— О чём разговор! Если бы у нас с тобой руки были свободными!..

В сумрачно-унылом взгляде Шаплыко Настя уловила тайный вызов её словам и, обидевшись, отвернулась в сторону...

— Ну вот, что бы я ни сказал, ты сразу в меня камень бросаешь. Мы как будто какую-то игру затеяли. А на то, что есть, глаза закрываем, всячески себя успокаиваем: всё как-то обойдётся, беде кукиш под нос сунем. А вот ты рискни, ответь на мои вопросы, только искренне. Дошёл, скажем, Грач до линии фронта. Перешёл, скажем, он эту линию. Сможет сразу назад вернуться? Сможет отыскать лесную дорожку, которая ведёт к нашей смолокурне?

— Грач вернётся.

— Японский бог! Святая она, действительно. Но ведь с неба, где живут святые, хорошо всё видно. Так неужели ты не видишь, что там, за линией фронта? Грача могут сразу — на цугундер. Почему, мол, себя спасал, а знамя полка где-то в болоте бросил. Что он на это ответит?

— Ты чего прицепился к Грачу? Зачем эта грязь...

Настя замолчала. Замолчала не потому, что отчаянье сжало горло. Она подумала о том, что Грач при расставании с ними не был до конца искренним. Почему он не сказал Шаплыко, что знамени полка в том ящике нет, что они унесли его с собой? Почему приказал молчать об этом, сказал, что даже пальцем нельзя прикасаться к ящику? Получается, что он не доверяет Шаплыко. А Конопелько? А Буркуну и Авдошко? К ним у него нет доверия, только ей, выходит, и доверился Грач?

От этих мыслей стало звенеть в голове. О чём-то сосредоточенно думал и Шаплыко. Вдруг он повернулся к Насте, поправил на голове фуражку:

— Всё! Язык себе отрежу, если хотя бы раз произнесу эту фамилию, —

и похлопал по чёрной ручке тесака, что болтался на ремне. — Молиться на него буду.

— Начинай молиться уже сейчас, — искренне посоветовала Настя. — Вернётся. Вернётся, потому что я этим живу!

Шаплыко растерянно и с какой-то доброй усмешкой почесал затылок.

Какое-то время шли молча. На землю около молодых елей и широких приземистых кустов можжевельника на глазах оседали вечерние сумерки. Непонятная тревога сжала сердце, и Настя с недоверием посмотрела на человека, который шёл рядом с ней.

Кажется, никогда Шаплыко не был с ней искренним. Шутил, иногда поддразнивал, шпильки подпускал. И каждый раз бросал эти шпильки очень уж вьедливо, с натиском, словно испытывал её, к чему-то подталкивал. Она правильно сделала, когда резко его оборвала. Пусть знает, что она умеет постоять за себя. И Грача защитит, доброе его имя марать не позволит. Грач вернётся. Конечно, не сегодня и не завтра — время какое-то, и по всему видно, немалое! — пройдёт. Хотя — и до завтра надо ещё дожить!

Сухой стук послышался вблизи, потом вдруг стих, как осёкся, и слева, в вышине, между золотистыми сосновыми ветками, мелькнула чёрная тень, раздался полный растерянности крик дятла.

— Слышишь? Голоса!

— Да дятел это...

— Голоса, говорю тебе! Похоже, около смолокурни. Она уже недалеко, за этим березняком.

Шаплыко торопливо закрутил повод за ствол высокой берёзы, протянул Насте карабин:

— Дай сюда автомат. И — за мной! Подойдём тихо...

Настя шла за Шаплыко, но не слышала голосов. Она удивилась не тому, что Шаплыко голоса услышал, а что так быстро и незаметно закончилась их дорога.

Начался хвойник, густой и колкий. Он быстро закончился, открылось болото, поросшее знакомыми низкими лохматыми сосенками, и Настя вдруг чётко услышала голоса.

— Там, — она схватила Шаплыко за руку. — Впереди. Как будто человек крикнул. И вот снова!

— Около смолокурни это, — твёрдо определил Шаплыко и зверовато оглянулся вокруг. — Неужели кто-то на наших наскочил? Поставь на боевой. И предохранитель, предохранитель... Споткнёшься вдруг, пальнёшь мне в спину...

Шли молча, прислушиваясь. Под ногами мягко, как вата, пружинил беловатый мох, за болотом кроваво светилась узенькая полоска неба, кружилась голова от густого и горячего, как из печки, воздуха, удушливо пропахшего багульников.

Смолокурня была совсем близко. И вдруг оттуда, очень выразительно, долетел чей-то голос. Но не растерянность была в нём, а волнение и радость. Настя оторопело посмотрела на Шаплыко. Это же Конопелько хохочет. Его это голос.

— Похоже, он, — согласился Шаплыко. — Но не высовывайся, не высовывайся! — осадил он Настю. — Подойдём осторожно.

Краем болота они приблизились к молодому осиннику, из него перебежали в орешник и, наконец, увидели Конопелько. Полудёжа около входа в погреб, он тасовал карты и выговаривал громко, радостно посмеиваясь:

— Не везёт тебе, Буркунок! Седьмого дурня на себя взял. А на это, скажу, не абы какой ум надо иметь.

Не обращая внимания на Настю, Шаплыко ругнулся, подскочил к Конопелько. Выхватил у него из рук карты, бросил на землю, стал топтать сапогом, зло сопя:

— Вы что? Подурнели? Откуда здесь взялись карты?

— Карты Авдошкины, — Конопелько растерялся, смотрел на Шаплыко виновато, заикаясь от неожиданности, начал оправдываться.

— Тут же с ума можно сойти, день на одном боку лежать. А игра эта дурная — спасение. Время бежит незаметно. И сердцу — облегчение, о весёлом думаешь.

— А то, что крику на весь лес, — об этом не подумали? — Шаплыко шалел по-прежнему. — Спалю сейчас это паскудство. Тут жилы рвёшь, харч им тянешь, а они — о весёлом думать взялись.

Настю душил дурной смех. Тревога исчезла! Она без сил присела на вересковую кочку. Руки её погрузились в сплетение упругих твёрдых стеблей, натруженные ладони ласкала мягкая, врачующая теплота. На миг показалось, что вернулся Грач, и они сидят в том вереске, что густо порос около ствола стройной сосны у поворота лесной дороги...

Настя сидела, прислонившись к стене смолокурни, положив на колени руки, и только одно ощущение заполняло всё её существо — усталость! Ни одной свободной минуты не было у неё с самого утра: приготовила отвар из зверобоя, сделала перевязки, потом полоскала бинты. Полоскала их в холодной воде до невыносимой боли в руках, и делала это не один раз: пришло время, когда уже невозможно было их отмыть добела. А от Шаплыко никакой помощи. Правда, наломал сухих веток, сложил штабелями у костра. Больше ничего. Даже коня, пасущегося в низине, не подвёл к ручью, а попросил сделать это Настю. Вот и сейчас сидит под елью и сосредоточенно налегает на ненужную работу — мастерит из старого пальто седло. С самого утра! И видно, что ничего у него не получается, так нет же: с завидным упорством режет, кроит, сшивает...

— Что-то долго ты копаешься с этим седлом.

— Ох, и неблагодарный ты, однако, человек! Изобретение у Шаплыко одно, другое, третье... А где премия?

— Какое изобретение?

— Смотри: вот тебе цыганская иголка, вот нитки, а это шило — всё сам придумал. Вот закончу седло, привезу тебе картошку. А награда где? Сто граммов пожалела, эх ты!

— Мы же договорились, что на лечение оставляем.

— Как в той песне, одним словом: “Хаим, Хаим, что мы с тобой маем”. Вот чёрт! Иголка сломалась, японский бог!

Кудеватая толстая иголка, которую смастерил Шаплыко из сухого можжевеловника, казалось, твёрдая как кость, хрустнула у самого ушка. Настя потрогала острые короткие кончики, Шаплыко поймал её руку и мягко покрутил.

— Совсем вылетело из головы, — с сожалением сказал он. — Мыла не расстарался... Тебе же руки — перевязки делаешь! — в чистоте надо держать...

Растроганная неожиданным вниманием, она стала рассматривать свои загрузевшие руки, почерневшие, в царапинах пальцы.

— Дым от смоляков вьелся так сильно, что не ототрёшь даже песком... Но я беру немного спирта, протираю руки перед тем как делать перевязки.

— Завтра мыла привезу. А спиртик тот — мне выдай на внутреннее лечение.

— Про спирт даже не думай. Пусть у тебя голова болит, как иголку смастерить.

— Вот скажи ты, где тонко, там и рвётся, правильно в народе говорят. Сейчас новую иглу сделаю, а ты мне нитку наканифоль...

Из погребца донёсся мелодичный звук — кто-то пальцем барабанил по котелку. Настя поднялась и пошла к погребу.

— Принесите, пожалуйста, мне миску, — попросил Конопелько, как только Настя заглянула в погреб.

— Миску? Так она же пустая. Всё, что мы приготовили, съедено.

— Пустая мне и нужна. Положу на дно бумагу, писать будет удобнее.

Буркун громко засмеялся:

— На пустой миске пустое и напишешь!

Конопелько никак не среагировал на эту шпильку.

— Хорошо, я сейчас принесу...

Настя пошла к ручью, где на вереске сохли вымытые миски, взяла одну, принесла в погреб. Буркун словно разозлился, что Настя ласково разговаривает с Конопелько, и раздражённо бросил...

— Пусть комендант сюда подбежит.

Настя начала объяснять, что Шаплыко занят, но Буркун прервал её и разозлился по-настоящему:

— Пусть комендант придёт сюда. На мужской разговор!

Шаплыко нисколько не удивился, услышав, что Буркун зовёт его на “мужской разговор”, спокойно воткнул нож в землю, повернул в руках беловатый, как старая полынь, можжевельовый сучок, обструганный с одного конца:

— Подождёт “мужской разговор”. У меня теперь в мыслях, знаешь, что? Всемирная история!

Настя с удовольствием наблюдала за проворной, ловкой работой Шаплыко. А мыслями была далеко. Где сейчас Грач? Что делает в этот тёмный вечер?

— Ты как будто и не слышишь, — донёсся до неё голос Шаплыко. — А я говорю, что, наверное, лучше сегодня картошку привезти.

— На ночь глядя? Мы же договорились: завтра едем за картошкой. Вместе.

— А кто думал, что у меня работа так быстро покатит? Седло почти готово. Надо его проверить, чтобы потом, в большой дороге, переделывать не пришлось.

Она глянула на него, но спорить не стала. Хотя, кажется, всё обсудили утром. Завтра привезут картошку, позавтракают, и только тогда Шаплыко погонит верхом на другую сторону железной дороги, посмотрит, что делается на той стороне. Если всё будет хорошо, рванёт в сторону Двины, доберётся до Экимани, что под Полоцком, — там живёт учитель, у которого они вместе с Лабуком слушали радио. Конечно, план рискованный: дорога — не близкий свет, и неизвестно, на месте ли тот учитель. Но это единственная реальная возможность услышать Москву, точнее узнать, что делается в мире.

Настя молча поднялась, медленно пошла в сторону ручья. Остановилась около кочки, поросшей старым вереском, на которой сохли миски и ложки, — отнести надо в дощаник, не стоит оставлять на ночь! — и вдруг, увидев маленькую, вёрткую гадуку, ойкнула и отскочила в сторону.

— А-а-ай!

Шаплыко мгновенно оказался рядом, держа наготове автомат. Услышав о гадуке, даже сплунул от досады.

— Тьфу! Ты меня прежде времени в гроб положишь. Я чёрт-те что подумал. Подумаешь, гадука, да и не гадука это вовсе. Уж тут живет! Вчера его ещё приметил.

— Я их всех боюсь. Такое чувство, что гадука скользнула по ноге... — Согнувшись, она потёрла ноги выше щиколоток, ноги были красными от укусов комаров.

— Обувь у тебя, мамки-лямки, не приспособлена по лесу бродить. Как ещё терпишь... Знаешь, что сделай! Собери пепел, и около дощаника натряси. Гадуки не любят этот запах.

Она убрала посуду, принесла из костра пепел, рассыпала его у порога дощаника, аккуратно притоптала. Шаплыко тем временем закончил мастерить седло и поманил её пальцем.

— Бери, — сказал он, — протягивая ей две коричневые портянки. — Крепко, японский бог, это клетчатое пальто нам помогло. Мне — седло. Тебе портянки. Знаешь, как наматывать? Садись на седло, начнём изучать эту науку. Без портянок, чтоб ты знала, сапоги не носят. Вмиг мозоли натрёшь...

Она покорно села, и только тогда рядом с седлом увидела сапоги Вахтанга. Оказывается, Шаплыко и обувь ей сообразил. Он что, с ума сошёл?! Заставляет надевать сапоги покойника!

— Я не хочу, — тихо сказала Настя... — Не буду надевать сапоги Вахтанга!

— Детские выходки тут не к месту, — он решительно протянул ей портянки. — Бери, накручивай. И знай, что не его это вовсе сапоги. — Шап-лыко переставил сапоги слева от самодельного седла, ближе к Насте. — На фабрике их пошили. Потом сапоги попали на армейский склад. Старшина получил их и выдал солдату. Солдат не успел их сносить — его вины в том нет. И сапоги тоже не виноваты.

— К чему ты клонишь?

— А к тому, что военные законы надо знать — начал он снисходительно и совсем без обиды. — Молодой солдат, поступивший на службу, думаешь, новое обмундирование получает? Дудки. Вначале старое носит, а потом уже... Я через это, чтоб ты знала, тоже прошёл. Видела бы ты мою первую обмундировку...

— Нашёл что сравнивать!

— Я ничего и не сравниваю, только заметь: штучки детские в нашем положении — на грани военного преступления. Поняла? И перед памятью Вахтанга — нехорошо это. Разве не так?

Что тут возразишь. Правда на его стороне: в своих парусиновых санда-ликах, из которых уже пальцы торчат, походит ещё день-два по лесу. А даль-ше что? Босиком? В чемодане, который остался в поезде, лежат её доброт-ные кожаные туфли. Она, конечно, надела бы их, но мама не разрешила, побоялась, что новенькие туфли обобьются в дороге... Вот чудо: она жалеет свои новые туфельки. А вот о маме теперь вспоминает всё реже, словно зна-ет, что судьба её сложилась счастливо. А так ли это на самом деле? Ниточ-ка колкого озноба расплылась, знакомая горечь подступила к сердцу.

— Давай портянки. Завтра надену. И не смотри так, раз сказала, зна-чит надену.

Шап-лыко обрадовался, с подчёркнутой осторожностью скрутил в неров-ный жгут портянки и сунул в сапог.

— Сапоги поставь в погреб, под нары. Ночью может дождь хлестануть.

— Поедешь всё-таки? — спросила Настя. — Чем тебе помочь?

— Да ничего не надо...

Когда растаял топот копыт, Насте вдруг стало страшно. Она отнесла са-поги в погреб, поставила под нары и... нечаянно зацепила палку Конопель-ко, которую в полдень Шап-лыко высек из старого можжевельника. Палка была удобной, с широкой загогулиной, как раз под ладонь.

— Забыл положить на нары, — подал голос Конопелько. — Положи, чтобы под рукой была. Завтра обстругаю и попробую ковьялить.

Из тёмного угла погреба донесся глуховатый голос Буркуна:

— Когда комендант вернётся? Я спать не буду. Бульбочки сразу поджа-рим. Эх, бульбочки жареной поесть, да ещё с малосольным огурчиком. Или с укропчиком и чесноком...

Конопелько тут же бросил шпильку:

— А с хреном бульбочки не хочешь?.. Ночью ему, видишь ли, костёр па-лить и бульбу жарить. Потерпишь до утра.

— Я, может, не доживу до утра.

— Помолчи, Буркунок, — тихо попросил Авдошко. — Помолчи.

— Помолчу. Только вначале хочу знать: зачем надо было колёса бросать так далеко? Зачем? Пусть Настя объяснит!.. Нет, ты подожди, Конопелько, не перебивай. Если что случится, ты на палку обопрёшься и доковыляешь к болоту. А я? Когда обе ноги не служат... Мне и шагу не сделать. И Авдош-ко не сделает. Он молчит, но тоже так думает, я знаю. Вот вытащи ты из моей головы эту манозу, тогда я согласен помолчать. А то, что комендант нам бубнит, ни о чём мне не говорит. Какой след в лесу? Хоть десять подвод про-кати по вереску — никакого следа не останется...

Ссора по любому пустяку уже не была для Насти в диковинку. Но те-перь она вошла в русло жестокой вражды, приобрела оттенок непримиримой ненависти. Насте показалось, что Буркун обвиняет только её, и всё в ней взбунтовалось.

— Позор! — она пыталась говорить спокойно, убедительно. — Стыдно слушать. В горе люди становятся добрее... А вы?

Выпалив это, она выбежала из погреба, легла в углу дощаника на жёстком лежаке и закрыла глаза. Зачем ей всё это видеть? Зачем слушать эти ссоры? Она не виновата в том, что подвода стоит в молодом сосняке около жёлтого шнура люпина! И Шаплько не о себе думал, когда прятал колёса и оглобли — о них и думал, об этих, что пилят один другого. Но попробуй объяснить это Буркуну или Конопелько! Попробуй убеди их, что всё правильно сделано, разумно! А может, эта настёрная грызня имеет какой-то смысл? А может, правда, Шаплько сейчас поставил коня в оглобли, прикрутил колёса и покатил... Да нет, какой-то бред. И ты, голубушка, придави, притисни эту свою подозрительность!..

Настя ворочалась на своём как никогда твёрдом лежаке, наконец, не выдержала, поднялась и вышла из дощаника. Медленно подошла к ручью. Днём он был сияющим, игривым и звонким. Теперь, укрытая лёгким туманом, вода почти не журчала, казалась чёрной, словно дёготь. Ничто не отражалось на её поверхности, под которой, казалось, таится опасная глубина. Звенели и гудели обезумевшие комары.

С пригорка от погасшего костра потянуло чадом — на угли и пепел упала роса. Настя почувствовала знакомый колкий озноб. Прижала плотнее к телу кофточку, скрестила руки, обхватила ладонями локти, но так и не согрелась, почувствовала себя одинокой, незащищённой. И снова мелькнула предательская мысль: а что если злой на всё Буркун прав — бросил их Шаплько.

“Если Шаплько не вернётся, я здесь не останусь...”

Она понимала, что никогда этого не сделает. Но чёрная мысль о побеге всё же заглянула в душу, и от этого стало невыносимо тяжело...

Утром её разбудил басовитый голос Шаплько — в дощанике было совсем светло.

— Сто-ой, дружок!.. Пшиехали, как тот поляк говорил. Дзенькую тебе.

Настя услышала, как фыркает конь, как скрипят удила, торопливо вскочила со своего согретого ложа. Сердце наполнилось радостью. Вернулся Шаплько и никуда не сбежал. А она уже начала подозревать, что он задумал побег ещё тогда, когда они возвращались с винокуренного завода. Как же это противно — подозревать человека, который тебе искренне верит!

В радостном возбуждении она подбежала к Шаплько, который развязывал мешок с картошкой.

— Почему так долго? — глянула на Шаплько, бросилась помогать. — Мы даже перестали следить за дорогой. Просто заждались!

— Это уж точно, — он стоял, согнувшись под тяжестью мешка, и сверлил Настю насмешливым взглядом. — Наверняка, мамки-лямки, проклинали: мол, подался, гад, куда-то! Себя решил спасти, а нас, горемык, в лесу бросил, коня свёл...

Настя повела головой и опустила глаза.

— Ну что ты несёшь? Давай коня отведу к ручью.

— Э-э, нет. Коня я сам угощу водицей. А вот перво-наперво тебя хочется наградить. И знаешь, за какие заслуги? Примета есть такая, если тебя встречает женщина, которая и в дорогу провожала, — ты счастливый человек. Что мы имеем с этого? А то, что ты, Шаплько, счастливый человек.

— Позволь, счастливый хвастунишка, отвести коня на луговину, напоить, чтобы счастье тебе ещё больше подвалило. А ты сиди, отдыхай. И пусть сбудутся твои приметы.

— Веди, — коротко сказал он после некоторых раздумий. — Но сначала — подарок. Держи!

— Что это? Мы-ыло, — взволнованно протянула Настя. — Это же мыло!..

— Оно. Галка внесла два куска мыла в тот список.

— Так ты в Залесе был?

— А ты как думала? Только кладовочка та пустая, всё как ветром сдуло. И знаешь, что она сказала? Приходили, мол, такие же, как вы, и всё начисто мобилизовали. А в глазах — затаённый злой огонёк. Припрятала всё, гадовка!

— А что слышно? Какие новости?

— Неважные новости. Помнишь школу, что на пригорке, слева от дороги на винный завод? Немцы там стоят. Человек сорок. Говорят, станционная охрана.

— А фронт? О нём что-нибудь слышал?

— Ничего определённого никто не знает. Но видно по всему, что наши отступают. Знаешь, как они в школе живут? Окна ярко светятся, гармошка наяривает, песни горланят. А днём только одно и слышат от них люди: “Москау — капут”. Это, конечно, брехня. Но что меня потрясло? Степановна, та женщина, у которой мы тогда с тобой были, искоса на меня посмотрела. Даже хлеба не дала. Да Бог с ней... Веди коня, а я тем временем сапоги сниму. А это положи в дощаник — булка хлеба тут — расстарался у одного человека. Поговорим потом...

Шаплыко отвязал от седла сумку, которую Настя вначале не заметила, и отдал ей. Сыромятная уздечка, нагретая в руке Шаплыко, была мягкой, почти невесомой. Конь теребил уздечку, мотал головой, как будто силился что-то сказать.

Новости, которые привез Шаплыко, угнетали, и Настя, едва ступив на луг, потрепала рукой конскую гриву. “А что скажешь ты мне? Конечно, что ты можешь сказать? Это я должна тебе сказать спасибо, что бульбочки привёз”.

Конь зафыркал, потянулся к плечу. Настя щедро отозвалась на его вполне осмысленное сочувствие, припала щекой к конской гриве. Шерсть была холодной, но под ней струилось, трепетало живое тепло, оно било в щёку мягкой тёплой волной.

Когда она вернулась с луговины, Шаплыко стоял около костра. Он снял с рогульки закопчённый котелок, протянул Насте и неожиданно приказал:

— Возьми котелок и подскочи в тот березняк, около первого поворота, в низине, насобирай земляники. Там её полно! Только вглубь березняка зайти.

— А почему такая спешка? — её неприятно удивил внезапный командирский тон.

— Оно всё спешка... Вот так же, как мне заснуть — ох и прибился же я. Посплю! Поговорим потом...

Собирая спелые крупные ягоды, Настя всё время думала о том, что он не случайно дважды повторил одно и то же — “Поговорим потом”. Наверное, привёз ещё какие-то плохие новости, потому и не захотел рассказывать о них сразу.

Шаплыко крепко спал. Она попробовала его разбудить: громко разговаривала с Конопелько, шумно ломала сосновые ветки и бросала их в костерок, но всё было напрасно. Тот спал как убитый.

Пересыпав землянику в миску, Настя начала мыть картошку. Мыла по одной, тщательно обтирая каждую, потом сложила в котелок, залила водой и, поднявшись, глазам своим не поверила. Шаплыко уже проснулся и даже оседлал коня.

Он подошёл, спросил весело:

— Ну, так что? “Расстаться настало нам время...” Думаю, ехать надо немедленно.

Настя смутилась:

— А может, поешь, сейчас сварю бульбу.

— Что-нибудь поесть я и в деревне найду. Там, как видишь, нашу продавщицу мне никак не обойти. Вот обрадуется. Конечно, если того толстяка во дворе не встречу.

— Ты что, одурел? В деревню он днём поедет!

— Да нет, кажется, голова варит нормально. Но вот спал и увидел сон: я в хате Гальки, и она меня встречает по-царски: яичница на всю сковородку.

Он шутил, а глаза были невеселые, и Настя поняла, что Шаплыко шутит намеренно, чтобы отвлечь её от главного, от того, что он сейчас должен сказать, что всё им продумано, решение принято, и он его не изменит.

— Им ты сказал, что уезжаешь? — Она посмотрела в сторону погребца, около которого гнулись под ветром молодые берёзки. — Ведь им надо объяснить...

— Сказал. Правда, не всё объяснил: разведка есть разведка. Но на прощание сказал: на время моего отсутствия ты остаёшься моим заместителем. Всю власть отдаю тебе. На четыре дня.

Ей показалось, что она что-то не так поняла.

— На четыре дня? Ты же сказал вчера, что упрaviшься за два. Ведь день — туда, день обратно — вот и вся дорога.

— Это вчера! Утром в голове толку больше. Сейчас, когда коня седлал, я и подумал, что спешить ну никак нельзя. Если бы только к Двине и назад, так можно и галопом по Европам. Но ведь надо подыскать жильё, где можно их разместить, — он кивнул в сторону погребца и добавил решительно: — Из леса их надо вывозить. Вот о чём я хотел с тобой поговорить...

Конь дёргал повод, словно торопил Шаплыко в далёкую, опасную дорогу, и Настя, понимая, что она ничего не может изменить, отчаянно запротестовала:

— В плен хочешь их пихнуть? В ту загородку на станции? За колючую проволоку?

— Снова то же самое толкует, — проговорил он с сожалением, но с сожалением злым, непримиримым. — Откуда в тебе это чёрное недоверие? Есть деревни подальше от железной дороги, и люди добрые есть. Они и одежду дадут, и примут, и помогут...

— Я на это согласия не даю. Вот Грач вернётся, пусть тогда и решает. Он их судьбу доверил нам с тобой. А мы, получается, изменим ему и нашим товарищам.

Шаплыко улыбнулся:

— Между прочим, я знал, что именно так ты и встретишь моё предложение. Наверное, правда всё же на твоей стороне...

Он брёл по лесу, не выбирая дороги, задумчиво тянул за повод коня, и она шла за ним с каким-то странным чувством непонятной тяжести.

— К продавщице ты всё же не заходи. Вдруг кто увидит и немцам сообщит. Будет тебе тогда яичница на сковородке...

— Да что я, дурак какой, чтобы в петлю самому голову совать? Мне она ещё пригодится.

Настя спохватилась и сделала это искренне, без всякой фальши:

— А вот я действительно глупая. Надо же было тебе кусок хлеба с салом на дорогу дать. Подожди, я принесу.

— Не в лес, а из лесу еду. С голода не умру — к людям еду, — правдоуучительно начал он и неожиданно сменил тон. — А ты им роскошь не устраивай. Бережно расходуя продукты, чтобы хватило на неделю...

— Неделью? Ты же говорил — четыре дня. А теперь уже неделя?

Шаплыко обрадовался её волнению и заметил со смешком:

— Это я ваши возможности взвешиваю. Комендант должен иметь резервы. Обо всём должен думать.

— Ты лучше думай, как побыстрее вернуться. Узнай обо всём и поскорее назад. Не рискуй, не бросайся очертя голову.

— Да уж... к военной науке я приучен. Ухо трубкой умею держать...

— Знаешь, очень не хочется, чтобы ты ехал, — призналась она искренне. — Я вчера задалась. Даже разная глупость начала лезть в голову.

— А я, между прочим, догадался. И очень хорошо, что призналась. Когда человек искренний, на него можно положиться, полностью довериться...

— Я тебе доверяю.

— Знаю! Я это чувствую. Ты на Шаплыко тоже можешь надеяться. Он лучше погибнет, но подлости не сделает. И на Конопелько можешь рассчитывать. А вот Буркуну не очень доверяй. Какое-то у него нутро трухлявое.

— Раненый человек как ребёнок. Я тебе это уже говорила...

— Ты много чего говорила. А я тебе на прощанье одно скажу: доброе у тебя сердце. Говорил и снова говорю. Но доброта нужна в мирное время. А на войне доверчивость губит.

Шаплыко сильно пожал руку, потом вдруг прижал Настю к себе, поцеловал в висок, оттолкнул от себя и вскочил в седло.

Настя обхватила руками берёзу, — казалось, если не зацепится за что-нибудь, не устоит на месте, побежит за Шаплыко, — почувствовала под ладонью твёрдый колкий нарост, испуганно оглянулась. Это же здесь она расставалась с Грачом...

Фигура Шаплыко раза два мелькнула за деревьями и исчезла. В душе что-то оборвалось, она бессмысленно посмотрела на зеленоватый зубчатый уступ, медленно провела по нему рукой и почти физически ощутила невыносимую боль, отчаянное рыдание вырвалось из груди. Она уже не могла остановить слёзы. Они катились и катились по щекам, заливая лицо, руки гладили ствол берёзы, пальцы до боли сжимали выступ на дереве... Как будто какой-то знак — этот корявый зеленоватый нарост на берёзе. Молчи, терпи, голубушка, потому что ничего другого тебе не осталось. Сколько же это прошло с момента расставания с Грачом? А сколько дней ещё ждать! Какая страшная это вещь — неизвестность. Наверное, он не всё рассказал, о чём узнал в Залесье. На фронте у нас дела совсем плохи. Давно уже не слышно ни того фронта, ни взрывов, ни выстрелов. И Шаплыко по-настоящему встревожен. “Из леса их надо выводить...” Сейчас он на этом стоит твёрдо. Потому так и торопится, даже есть не стал... Хотя есть он не стал по другой причине: хотел, чтобы им тут, в лесу, больше осталось. Но что это? Не машины ли гудят?.. Да нет, самолёты где-то совсем близко заныли. Они летели низко, один за другим, угрожающе чёрные, с крестами на крыльях. Их было много, казалось, от рёва моторов сотрясаются земля и воздух, деревья и вереск.

Утро снова было ясным и чистым. Настю разбудила звонкая, весёлая трель берестянки. От ручья тянулся беловатый, почти прозрачный туман. Он цеплялся за ветки старых сосен на том берегу, густел, окутывал их в синеватое облачко. Оно было не сплошное, а составленное из отдельных полосок, и невозможно было проследить, где оно начинается и где заканчивается.

Пение берестянки неожиданно оборвалось. Куда она метнулась, Настя не успела заметить. Но, увидев, как из погребца, громко зевая, вылезал Конопелько, понял, кто спугнул утреннюю певунью. Опираясь на винтовку, он с трудом запрыгал по траве. Заметив, что Настя наблюдает за ним, приветливо закивал головой, сделал знак, чтобы подошла.

Она подбежала к нему, напустив на себя строгость:

— А кто ходить разрешил? Лежать был приказ. Говоришь им, говоришь... Как об стенку горохом!

— Показалось, что вернулся Шаплыко, — не замечая упрёка, проворчал Конопелько. — Второй раз показалось... — И неожиданно ласково и доброжелательно продолжил: — Не сожрали тебя эти ненасытные комары?

— А я в ватник завернулась.

— Разумно. А у нас, в погребце, душно. И долго не давала уснуть молния. Вспыхнет, как огонь из-под земли, по глазам как полыхнёт, а потом гром прокатится... Всю ночь глаз не сомкнул...

Когда сварилась бульба, Конопелько попросил:

— Отнеси вначале им. Чтобы не сопел Буркун, что его обделили.

Да, ладу между её подопечными, судя по всему, нет и не будет. Конечно, разные они люди. А что она знает о них? Ведь никто ничего о себе не рассказывал, наверное, и не расскажет. Как будто люди чего-то побаиваются, потому и таятся. Хотя Грач и Шаплыко о себе рассказали. Но, признайся, много ли ты знаешь о Граче? А о Шаплыко и того меньше; этот только шутить мастер. А вот о себе не очень-то много рассказал... Поставив котелок на краю нар около Буркуна, Настя ждала. Пусть возьмёт сколько хочет. Но он почему-то заметил сурово:

— Ты повар, тебе и делить.

Она отсыпала четыре картофелины Буркуну, столько же — Авдошко, взяла свой ломоть хлеба с тоненьким кусочком сала и вышла из погреба. Её остановило злое замечание Буркуна:

— С нами есть она не хочет. Из графинчика, значит, наливает себе по капельке.

От неожиданности Настя растерялась, спрятала обиду за шуткой:

— Графинчик испарился.

А потом, смеясь, пообещала:

— Лучше я вам водички горячей из чугунка налью.

На душе стало тяжело. И Конопелько это сразу заметил, как только Настя подошла к дощанику:

— Что, Буркун берёт за горло? Он вбил себе в голову, что мы тут пируем.

Она поставила котелок с картошкой на чёрный горбыль, который пристроили вместо крыльца у входа в дощаник, и, улыбнувшись, заметила:

— Да я не обращаю внимания.

— Настенька, знай, в обиду я тебя не дам.

Это обещание не вызвало в ней ни благодарности, ни радости.

Как только они съели хлеб с салом и картошку, Конопелько протянул руку и добродушно заметил:

— А теперь наукой займёмся, — и, встретив её недоумённый взгляд, добавил: — Пушечку свою вытяти из кобуры.

— Наукой так наукой, — согласилась Настя.

Взял Конопелько парабеллум, взвесил его на ладони, сильно стиснул рукоятку:

— Мастера делали, ничего не скажешь. Как приклеился к ладони. Ствол лёгонький. Весь груз в рукоятке, — Конопелько провёл пальцами по стволу, нажал на край ребра; щёлкнула и на ладонь вылетела обойма, из которой, словно головка гадуки, торчал жёлтый носик пули. Передёрнув какие-то выступы, он оттянул и опустил затвор. Потом, подняв руку, прицелился в какую-то точку в орешнике за дощаником, сухо щёлкнула пружина бойка. — Видишь, как надо делать? Бери, попробуй и ты. Тут главное, чтобы рука привыкла. И смелее, смелее!.. Оттяни затвор. Затем прицеливаешься и нажимаешь на спуск.

Он заставил её трижды взводить затвор, прицеливаться, и каждый раз, в ожидании выстрела, которого, знала, не должно быть, потому что Конопелько вынул обойму, у неё сжималось сердце, пальцы становились горячими, словно рукоятка парабеллума была раскалённой. Дважды Настя поймала на мушку сосновую шишку, потом небольшое дупло на старой осине за ручьём...

— Сильнее жми, сильнее! Она щёлкнуть должна. Вот так. Теперь без нужды не жми.

Настя медленно застёгивала кобуру и, вслушиваясь в буханье своего сердца, призналась:

— Не берёшь это проклятое оружие в руки — на душе спокойно. А дотронешься — сердце буквально срывается с места. Сразу тот бой в голове, всё в глазах плывёт.

— Плюнь и каблуком разотри. Мы на своей земле от смерти спасаемся — потому и стреляем.

— Я понимаю.

Конопелько нахмурился, голос его сразу сделался жёстким:

— Ты ещё не всё понимаешь. А не понимаешь, потому что на Немане, около Мостов не была. Не видела, как их танки из наших солдатиков кровавые котлеты делали.

— Сделают из них то же, придёт время. Чужой дом разрушаешь — свою судьбу губишь. Так люди говорят.

— Если доживу до того дня, когда гитлеровский дом на дым пойдёт... Честное слово, пойду в церковь, свечку поставлю...

— И от меня поставишь свечку. Даже лучше две рядышком.

— Поставлю, — твёрдо, без тени иронии пообещал Конопелько.

— А пока то будет, пойду, помою котелок, — сказала Настя и поднялась, но не пошла, продолжала стоять, будто ожидала продолжения разговора...

Но Конопелько, опустив голову, сжал губы и с ожесточением стал стру-

гать тесаком берёзовый костыль, всем видом показывая, что, мол, сильно занят работой и продолжать разговор не хочет.

Ей невыносимо захотелось туда, в деревню, к людям, в обычный, никем не разрушенный быт. Она глушила в себе это желание, понимая, что должна заботиться о раненых, которые только на неё и надеются. И ещё она не должна сидеть сложа руки.

Надо, между прочим, изучить лес вокруг. Толку мало сидеть на одном месте и беречь себе душу. Следует пройтись вдоль ручья. Повезёт, на землянику выйдет, обычно её больше на вырубках, а не в глухом лесу. Та делянка, которую Шаплыко показал, пустынная уже, надо новые места искать.

Конопелько её замысел похвалил. Только строго наказал:

— Далеко от ручья не отходить. За него, как за нитку, держись, чтобы не потеряться. — Он взял тесак, словно кому-то угрожая, добавил: — Смотри, одни, без тебя, мы погибнем.

Признание было искренним, шло от души, и услышать его, наконец, Насте было очень приятно. Выходит, её забота не напрасна: люди ей благодарны.

— К обеду вернусь, — пообещала она.

— Ты ядрицы в чугунок сыпани, поставь на костёр — каша и сварится. Я чугунок сторожу. Как-нибудь соображу обед к твоему приходу.

— Не стоит. Вернусь и сама всё быстренько сделаю. Сегодня у меня по плану — макароны. Так что сыпану в чугунок, сверху кину шкварку, — и, застёгивая ремешок на запястье, добавила: — Часа через два вернусь.

— Карабин не берёшь?

— А зачем? Он только мешать будет. И далеко я не пойду. К тому же — пистолет всегда при мне, — она поправила чёрную кобурку на ремне.

— Если кого встретишь, на глаза не лезь, — посоветовал Конопелько всё с той же строгостью в голосе. — Лучше спрячься. А если какое лихо — стреляй без предупреждения. Стреляй первой. Кто первым стреляет — тот и выигрывает...

Приветливо шумели над головой сосны, от макушек до корней высветленные солнцем. В вереске, в папоротнике и в черничнике, который вначале встречался пятнами, а потом заполнил всё вокруг и был густо усыпан крупными, совсем неспелыми ягодами, тоже всё сверкало ласковым, приветливым светом — даже страшно было ставить ногу в зелёную ягодную гущу.

Дальше черничник погустел, пошёл узкой полоской вдоль ручья по левую сторону. Справа на покатых пригорках зажелтел бор со следами старой подсеки. Настя вышла из тени на освещённую солнцем поляну и даже закрыла глаза. Яркое солнце на какое-то мгновение ослепило. И земляничный аромат! Да вот и ягода, густо рассыпанная на поляне. Настя не заметила, как котелок до краёв наполнился сочной земляничкой. Она с аппетитом отправляла ягоды в рот, ощущая удивительную свежесть и аромат.

Настя поставила котелок на почерневший, в крупных трещинах сосновый пенёк, начала было снимать кофточку и... смутилась. Показалось, или действительно послышался приглушённый голос? Как будто кто-то её звал, неуверенно и пугливо. Настя, смущённая, присела, оглушённая биением собственного сердца. Вокруг никого не видно, но всё равно надо быстрее убежать с этой поляны...

Только когда увидела дощаник, успокоилась и даже посмеялась над своим страхом. Да показалось ей всё это. От порыва ветра загудели вершины деревьев, и послышалось неведь что. Трусиха! Неслась как угорелая, посмеется Конопелько, если узнает. А он по-прежнему сидит на том месте, где она его оставила. Сидит неподвижно, закрыв глаза. Нет, вот открыл и наблюдает за ней.

Она подошла и устало заговорила:

— О-ох, находилась. Ноженьки гудят. Духота в лесу. А тут — роскошно, ветерок, прохладно — одна беда — ягоды не растут. А я, видишь, на какое место наткнулась, бери, ешь!

Он мельком глянул на крупные ягоды, взял одну, что прилепилась к ручке котелка, бросил в рот, и звучно причмокнул:

— Самая лучшая ягода, когда лесная. Лесное в лесу хочет жить — закон природы. Около дома земляника слабо растёт. Я со своим Игорьком пробовал выращивать. Но реденькие кустики поднялись, а потом и вовсе завяли. И вкус у пересаженной земляники не тот. Нет духа лесного.

Он взял ещё несколько ягод, потом вытащил из кармана гимнастёрки сложенный треугольником лист, протянул Насте.

— Письмо своему Игорьку написал. Когда будешь в деревне, отдай кому-нибудь. Как договорились, одним словом. Прочитай!

— Зачем? Это же не мне письмо.

— Мы ведь здесь своими стали, одну беду хлебаем. Ты когда ушла, меня такая тоска взяла, что хоть волком вой. Вот и взялся чиркать. Даже костыли не успел постргать...

Она, подчиняясь этому пронзительному взгляду, взяла письмо и неожиданно почувствовала, что у неё дрожат пальцы, как-то странно сохнет от волнения и непонятной тревоги в горле, обручем сжимает сердце.

“Игорёк, дорогой мой сынок! Война теперь идёт, ты это видишь, война кровавая, и фашист прёт по нашей земле, уничтожает всё, убивает, сжигает города и деревни, и никто не знает, какая судьба может встретить нас на этом пути. В судьбу я не верю, я верю в добрых людей, сердобольным и отзывчивым сердцам верю, — они передадут тебе это письмо, слова мои не погибнут, и ты их прочитаешь.

Думается, вернуться домой, в наш красивый и милый Ленинград, суждено не скоро. Война, судя по всему, затянется не на день-два, и в этом году я конца ей не вижу. Но рано или поздно она, проклятая, закончится. И это, Игорёк, святая правда. Ты в это верь непоколебимо и твёрдо, верь, как верит твой отец. А то, что фашист забрал у нас много городов и деревень, ещё ничего не значит: мы, думается, заманиваем их вглубь, как когда-то делал Кутузов, чтобы потом со всех сторон гвоздануть им под самый дых. Помнишь, я читал тебе книжку о русском князе, который осилил, побил своих врагов и сказал: кто к нам с мечом придёт, тот от меча и погибнет. Ты даже не представляешь, какие нечеловеческие издевательства ожидают нас, если Гитлер нас одолеет. Но он не победит! Не победит потому, что и у меня, и у каждого нашего солдата нет страха, есть только одно желание — бить врага, уничтожать фашистов, как бешеных собак, которые хотят проглотить нас и нашу землю. Но Россией они подавятся, их кости ислепеют в нашей земле: такой конец ожидал всех захватчиков, которые пытались покорить русскую землю. Тебе сейчас пятый год, и ты ещё не всё знаешь. Но мама тебе объяснит то, чего ты ещё не понимаешь. Она расскажет тебе о том, что самое страшное горе на земле — это война, когда человек убивает человека. Но разве это человек, который хотя и имеет облик человеческий, но льёт кровь людскую? Нет, это — шальной зверь. И спасение от него одно — убить такого гада, чтобы он не наделал ещё большей беды.

Был я, сынок, ранен в бою. Сейчас лежу в госпитале. Скоро мои раны заживут, потому что нас лечит очень хороший врач, душевный, чуткий, и сил у меня прибавляется с каждым днём. Поправлюсь — и сразу в бой. И если твой отец не вернётся домой, ты должен знать: он погиб в бою за Родину. Наш командир в бою под Мостами — есть такой городок в Беларуси — был ранен. Но из боя не вышел, сказал, что хочет встретить смерть лицом к врагу, лицом на Берлин. Если придётся, то и твой отец погибнет так же.

Крепни, сынок, набирайся силы. Когда подрастёшь, иди на завод, на котором работал я. Родной Кировский завод дал мне всё, чем я горжусь. Попросишь, чтобы тебя поставили на тот же станок, на котором работал я: он в цеху первый справа. Если бы ты знал, как хочется мне увидеть тебя взрослым и вместе прийти на наш завод.

Расти, сынок, смелым. Никогда и нигде не склоняй головы, если знаешь, что правда на твоей стороне.

И ещё я хочу попросить тебя: не огорчай маму, знай, что ты сейчас единственный мужчина в доме и должен маме во всём помогать, чтобы она могла опереться на тебя и отдохнуть, если ей придётся тяжело. А трудностей

хватит, потому что идёт война, и вы только вдвоём, без меня, и вам придётся нелегко.

Крепко обнимаю тебя, целую. И маму поцелуй за меня, скажи ей, что я обязательно напишу и ей. А ты ложись спать и вставай раненько только с одной мыслью: победа будет на нашей стороне. Будет и у нас праздник.

Твой отец. Фронтовой госпиталь. Июнь 1941 года. Беларусь”.

Прочитав письмо, Настя вновь — в который раз — подумала о матери...

Она стояла молчаливая и печальная, в глазах её были укоризна и вопрос: “А ты, дочушка, почему не написала мне письмо? Где ты сейчас, живая ли, здоровая — что ж ты мне весточки не подаешь? Болит, болит моё сердце, а ты как неродная, не кровиночка моя...”

И действительно, почему она не додумалась до того, что сделал Конопелько? Могла и она написать письмо, оставить в деревне, людей попросить... На всякий недобрый случай остался бы след, люди потом её письмо переправили бы по адресу, и оно дошло бы до мамы... Ведь было и время, и возможность сделать это. Но у неё даже мысли такой не возникло. Наверное, потому и не возникло, что всё это время она думала о Граче, надеясь на скорую с ним встречу. Настя всем своим существом верила, что он скоро вернётся. И тогда всё пойдёт по-другому, повернёт на радость...

Так значит, ты думаешь, что впереди у тебя только радость, только хорошее. А Конопелько? Оказывается, он знает, что впереди только плохое? Потому и решил оставить завещание сыну, чтобы знал мальчишка, кем был его отец, чтобы гордился им.

Но что это? Как будто тень мелькнула за соснами, как раз в том месте, где лесная дорога теряется за стволами деревьев. И как будто застучали копыта. Действительно, конь почти рядом. Копыта стучат мягко, приглушенно, как-то осторожно. Да вот и конь заржал...

“Грачок вернулся!..”

Мысли о Граче были такими естественными и желанными, что Настя сразу поверила в них: Грач! Едет мой Грачок, спешит ко мне!

Настя выскочила на лесную дорогу и оторопела. Конь знакомый, на нём Шаплыко ускакал. Почему так рано возвращается, да ещё коня пустил вперёд?

Конь заметил её, потряс головой, заржал, и в том продолжительном, с перепадами ржания было что-то похожее на тревожный человеческий голос.

Настя испуганно сделала несколько шагов назад. А за ней, как будто толкая её с лесной тропинки, в глубь леса, двигался конь. Она отступала и, наконец, остановилась, упершись спиной в старую сосну. Остановился и конь, он тянулся к её рукам, как будто чего-то просил.

— Шаплыко! Ты где, Шаплыко?

Она звала сдавленным от испуга голосом, поперхнулась, закашлялась и, всё ещё не теряя веры в то, что он рядом, что он просто пошутил и прячется где-то, чтобы поугадать её, взялась за уздечку и попыталась вернуть коня.

Не выпуская уздечки из руки, Настя осмотрела седло, которое сползло на левый бок. Седло было чёрным и блестящим. Настя дотронулась до пятна рукой.

“Кровь... Это кровь Шаплыко!”

Она смотрела на блестящую шерсть около конской гривы, на верёвочные стремена, на которых запеклась и высохла кровь, и окончательно поверила в самое страшное: Шаплыко убит! Он упал из седла на этот бок, потому седло так и перевернулось, стремена свернулись на другую сторону.

— Беда случилась? Скажи, конёк, скажи, дорогой! Почему ты молчишь?

Настя спросила тихо, с надеждой, как будто и в самом деле поверила, что конь ей ответит. Слова родились против воли. Их смысл сердце не принимало и трепетало, словно зажатое в удушьяющей, гибкий обруч.

Надвигались сумерки, они неумолимо наползали из глубины леса на засыпанную хвоей дорогу, и Насте показалось, что кто-то подкрадывается к ней, прячась за деревьями. Она прижалась к конской шее, словно закрыва-

яся от беды, и, озираясь, торопливо пошла к погребу. Около входа, опираясь на костыли, стоял Конопелько, она, увидев его, немного успокоилась. Наверное, она делает ошибку, что ведёт сюда коня. Надо было бы оставить его в лесу, привязать к дереву, чтобы никто из раненых не знал пока, какая беда случилась с Шаплько.

И слова, удивляя её, вырвались совсем другие:

— Вот конь... Конь Шаплько прибился. Я сидела около сосны, а он: топ-топ... — и снова подумала о том, что совершает новую ошибку, потому что её слова слышат в погребе. — И седло, кажется, в крови...

Подскачив на одной ноге, почти не опираясь на костыли, Конопелько пощупал седло, стремя, провел по лоснящемуся пятну на конской гриве. Лицо его зло перекопилось:

— Бога мать, — Конопелько выругался, не обращая внимания на то, что Настя стоит рядом. — Храбрость свою, холера, наверное, показывал. Попёр куда-то, не осмотревшись... Вот и напоролся на горячее...

— Тут сидя, легко рассуждать, — рассердилась Настя.

— Ты лучше на седло посмотри, доктор, не видишь, как кровь запеклась? Она утром пролилась... Так что, если и лежит Шаплько, то не близко... Какие следы в темноте. Веди коня к орешине, хотя нет, лучше к дощанику. Там скоба в стене — надёжнее будет.

Она послушно отвела коня за дощаник, привязала уздечку к ржавой скобе и вернулась назад. В погребе спорили. Но как только она приблизилась к входу, голоса стихли. Немного погодя её позвал Конопелько:

— Входи, Настя, — и спросил, когда она вошла и села у входа: — Надёжно привязала?

— Надёжно.

— Тогда ложись и спи. Утром что-то прояснится... Если мы доживём до утра. — Что-то похожее на отчаянье прозвучало в голосе Конопелько. Но Настю удивил не тон, а то, что они тут обсуждали тайком, а это значит, что ей не доверяют. И она решила действовать самостоятельно, независимо от них:

— Пойду в Залесье. Шаплько наверняка не обошёл деревню. Если его не найду, то хотя бы что-то узнаю.

Конопелько хмыкнул:

— И как ты найдёшь в темноте дорогу?

— Найду. Утром я уже тут буду.

— Не пуццу! Никуда ты не пойдёшь, на ночь глядя.

— Нет, надо идти, — неожиданно отозвался Авдошко. — Человек, может, лежит раненый, а коня специально погнал, чтобы знак дать. Чтобы спасали. Положи ей хлеба в вещмешок. И не жалей. Мы тут как-нибудь обойдёмся. Из банки своей выгребви всё, что там есть...

И эти рассудительные слова Авдошко решили всё. Настя схватила сапоги Вахтанга, сняла со стены карабин. Усевшись на доску около порога, начала обуваться и в мыслях успокаивать себя. Не потеряется она в лесу — дорога знакомая. И луна вон какая вышла, через час будет светло, как днём.

Огромный тёмно-терракотовый круг луны висел теперь совсем близко, казалось, она зацепилась за верхушки сосен. Но темнота возле земли сгустилась. От прохладного влажного тумана, который наполнил от болота, у Насти по плечам побежала дрожь. Наверное, не совсем разумно она делает, наверное, надо подождать утра. Но и назад пути нет, потому что Авдошко, конечно же, прав.

Из погреба, постукивая костылями, выбрался Конопелько. Ей показалось, что он сейчас снова запротестует, начнет её отговаривать. И в душе она была готова уже согласиться с ним.

Он, однако, больше не уговаривал её, протянул вещмешок и тихо выругался:

— Чтб ему, Гитлеру этому, завтра и околеть...

Настя шла быстро, но через какое-то время замедлила шаг и вскоре остановилась перед неожиданным препятствием: огромное дерево лежало прямо на её пути, да так, что не пройти, сучья густо торчали во все стороны,

как будто переплетённые проволокой. Не было, не было этого бревна, когда они ехали с Шаплыко. Значит, она повернула не в ту сторону, потеряла дорогу; где и как это произошло, она не могла даже представить.

Стало тяжело дышать, в виски била невыносимая боль. Карабин резал плечо, тянул к земле... Настя сняла его, потрогала холодную рукоятку затвора, страх отступил. Она вооружена, и можно не бояться...

Холодные капли дождя упали на разгорячённое лицо. Капли шуршат в ветках, как будто кто-то трясёт хвою. Удивительно! Небо было чистым, когда она шла от болота, и луна была большой и светлой. Теперь она точно не найдёт нужной дороги. Надо переждать, а тогда двигаться дальше.

Настя протиснулась под густой навес из веток, села на мягкие, сухие листья, перемешанные с хвоей, развязала вещмешок. Хлеб был очень вкусным, казалось, что такого она ещё никогда не ела. Надо будет сказать спасибо Авдошко, это он позаботился. И что-то уж очень унылое было в голосе Конопелько, говорил, как будто прощался навсегда. Нет, об этом сейчас думать нельзя. Ей надо искать Шаплыко! Закончится дождь, и она продолжит дорогу.

Настя слушала шум дождя и засыпала, спокойная и уверенная в том, что вот сейчас, как только стихнет шелест капель на ветках, она поднимется и двинется дальше, найдёт Шаплыко, и они вместе вернутся к болоту, где их ждут. Вещмешок она положила под голову, карабин прижала к себе, сжав приклад рукой, приклад согрелся, от него руке было уютно и хорошо.

Било в глаза яркое солнце, и Настя, с удивлением смотрела на могильный холмик, на поблёкший люпиновый шнур, который теперь цвёл только по краям поля, а в середине серел кривоватыми стручками пепельного цвета. Это же она спала почти рядом с могилой Вахтанга! И как ещё спала. Как будто провалилась: ничего ей не приснилось, ничто её не потревожило до самого утра. И вся теперь она бодрая, полная сил.

Земля на холмике осела, берёзовый столбик покосился и стал коричневым, и надпись, которую сделал Шаплыко, стала почти незаметной. Густой щетиной порос вокруг могилы пырей, можно подумать, что человек тут похоронен давно, может, даже весной.

“Вахтанг в земле... А я ношу его сапоги...”

Эта мысль настолько потрясла, что Настя отшатнулась от потемневшего на солнце берёзового столбика, кинулась прочь, не оглядываясь. Вспомнила, как уговаривал, а потом даже ругал Шаплыко, когда заставлял надеть сапоги. А ведь он был прав! Как бы она в своих босоножках или босиком брела по ночному лесу! Хватит, хватит ей выжигать себе душу. Не о тех, кто в земле, а о тех, кто на земле, надо сейчас думать. Думать о том, как найти Шаплыко, как добраться к людям, найти продовольствие и вернуться назад к тем, кто сейчас в погребё, надеется на неё и ждёт. А она проспала всю ночь...

Вот если бы сейчас был конь! Вскочила бы на него и помчалась... Интересно, узнает ли её та хозяйка, в доме которой они были с Шаплыко, прежде чем пойти к продавщице? Кажется, её зовут Степановой? Да, конечно, Павлина Степановна.

Точно... Как хорошо, что вспомнила. Вот скажи ты... А там, на болоте, как ни старалась, не могла вспомнить. А здесь сразу имя всплыло в памяти... Только неизвестно, стоит ли вообще заходить в дом? Нет, всё же надо. Степановна женщина искренняя, ей можно довериться, можно спросить, может, она что знает о Шаплыко. А вот карабин, наверное, следует оставить в лесу, хорошенько спрятать где-нибудь. Парабеллум жакетиком прикрыт — даже если бы хотел увидеть кто, не заметит.

В густом орешнике, где в тот раз Шаплыко оставлял телегу, Настя припрятала карабин и смело направилась к опушке. Глянула на узкое поле, что открылось перед ней, и смутилась.

К Залесью ли она вышла? Залесье. Вон и знакомый дом.

Настя посмотрела на крышу дома, над блестящим коньком курился лёгкий туман. Она миновала кучу камней и куст орешника, в середине которого пряталась в тот раз, когда ожидала знака, и совсем близко, на ржище,

почти перед собой, увидела ту женщину. Она шла, пригнувшись, с корзиной, переплетённой белой проволокой; по одну сторону ручки торчал большой пучок зверобоя, а по другую щетинились ржаные колоски.

Настя сразу узнала женщину, радостно поздоровалась. Но та как будто не услышала её приветствия, глянула поверх Настиной головы и, наклонившись, бросала колоски в корзину.

— Вы меня, наверное, не узнали, — сказала Настя. — Мы к вам, Павлина Степановна, заходили однажды. Вдвоём...

Женщина молча перешла в узкую борозду на другую сторону дороги, топала по ней, раз за разом оглядываясь назад, на затенённые яблонями дома, и только тогда, когда зашла за орешник, заговорила:

— Пригни, доченька, голову. Не высовывайся... Чего, чего? А то, знаешь... Деревенские у нас теперь не больно-то в лес и суются. Кто из леса выходит, по нему немец сразу садит. Из пулемёта сразу секут. Как ещё по тебе не влупили? Кофточка у тебя приметная. Издали увидела тебя и сразу признала.

— Значит, вы меня помните? — Настя обрадовалась, и особенно тому, что догадалась припрятать карабин в лесу: не надо, чтобы видели деревенские, что к Степанихе заходил вооружённый человек. — А того военного, что тогда был со мной, вы не видели?

Женщина поправила колоски в корзине, потом ответила:

— Видела. Вчера всех нас согнали к школе в полдень, чтобы узнать, из какого дома этот человек. Галька орала — бандит, не наш, мол, ограбил меня. А он, бедненький, весь в крови, верёвкой к машине привязан...

Земля дрогнула под ногами Насти, в горле пересохло. Поверила сразу, что Шаплько повстречала беда. Но спросила снова, упрямо:

— Вы не ошиблись? Это тот человек, с которым тогда я заходила к вам?

— А как же. Не ошиблась, детка. А как он в беду попал, не знаю. Теперь каждый своё говорит. А я вот колосочки подгребаю. Наши специально жали так, чтобы колосков побольше легло на землю. Потому что всю рожь немец на станцию попёр. Подчистую.

— А что в деревне говорят? Убили человека, и чтобы в деревне ничего не знали? В это тяжело поверить.

Женщина оглянулась на деревню, проговорила скороговоркой:

— Говорят, что машину хотел угнать. Около школы машина стояла. В машину он вскочил и поехал. А за ним — на мотоциклах. Перед самым лесом его и нагнали.

— По какой же он дороге ехал?

— По старой, что на винокуренный завод идёт. И не знал, бедняга, что машины наши новой дорогой обычно гнали. А на старой — мостик слабоватый. Оттуда, от того моста, его к школе и привезли. А потом машина на станцию поплыла. А его, на верёвке, сзади...

Больно стучало в висках. И Настя, чтобы хоть как-то унять боль, наклонилась к земле, словно горе согнуло её крючком. На глаза попало два колоска, и она машинально положила их женщине в корзину. Женщина молча приняла их, перекинула корзину из левой руки в правую, подальше от Насти, пытаясь побыстрее отделаться от неё.

— А что, ваш Владка бывает на станции? — спросила Настя, пытаясь как-то задержать женщину, чтобы поговорить...

Короткий хмурый ответ не смутил Настю. Ей показалось, что она чем-то очень озабочена, хотя какая-то заинтересованность и пробивалась в её настороженном взгляде.

— А зверобой надо перебрать, — заметила Настя и показала на растеньице с мелкими листочками. — Вот эти надо выбросить. Видите, какие тут стебли? На лекарство они не подходят. А вот эти — хорошие прямые стебли, листья ровненькие. В них очень много эфирных масел и каротина...

Женщина глянула на неё внимательно, с неподдельным интересом:

— Грамотная ты, детка. Учёному человеку хорошо. Хотя кому нужна сегодня эта учёность. У кого есть хлеб — тот и господин. — И вдруг посове-

товала строго: — В деревню днём не заходи. Только когда стемнеет. Ты же, смотрю, по каким-то делам шла в деревню.

Настя сказала искренне:

— Конечно, кто теперь без особой нужды ходит? Только беда и гонит людей, да ещё и днём...

И неожиданно, сама себе удивляясь, Настя открылась женщине, которую видела всего один раз. Она рассказала ей о Конопелько, о письме, которое он просил передать кому-нибудь в деревне, — только не сказала, кто такой Конопелько и где он, — о том, что ей очень надо расстараться продуктами. И тут же поняла, что совершает ошибку, рассказывая обо всём так открыто. Потом как бы случайно, решив проверить женщину, заметила, что хотела бы зайти к продавщице Гальке, чтобы купить у неё продукты, деньги на это у неё есть.

Женщина испугалась, замахала руками:

— Ни ногой туда, слышишь, ни ногой, дитяtko. В тот день, скажу тебе, как вы у меня были, Галька эта около моего дома встала и на всю округу орала: только узнаю, кто на меня насрал тех бандитов, каждому по макаронине засуну в глотку. Она, чувствую, за моим домом наблюдает, шпионит...

Настя поняла, что больше ничего не узнает от женщины, и всё-таки, отчаянно пытаясь войти к ней в доверие, спросила:

— А что люди про фронт говорят? Где наши теперь?

— Да разное гомонят. А в газетке, что Владка со станции припёр — немецкая же газетка, — пишут, что Смоленск взят. И Москву уже берут, мол, скоро Кремль увидят...

Женщина говорила неуверенно, как будто хотела услышать совсем другое. И Настя почувствовала это и сказала твёрдо:

— Увидят они, звери гитлеровские, Московский Кремль, как свои поганые уши. Нелюди проклятые!

Женщина снова оглянулась на дома, смутилась и попросила тихо:

— Ты уж с такими словами поосторожней. Теперь не каждому их можно говорить.

— Но вам — можно. Вы наш человек, советский.

Женщина ещё больше забеспокоилась, попросила настойчиво:

— Ты иди себе, дитяtko, иди. Вон там просёлочная дорога. А за березничком бульбяное поле, колхозное... Немцы запретили копать. Но люди бульбочку копают, и ты наберёшь.

— Я в Полоцке живу, — совсем неожиданно проговорила Настя. — Сгорело там всё. А в деревне хлеба можно купить. Деньги у меня есть. На деньги я не поскупились. И торговаться не стану.

Она торопливо стала развязывать вещмешок, но женщина её остановила:

— Да что теперь эти деньги? Дым. Коробок спичек на станции — пятьдесят рублей. Теперь же марки какие-то у них ходят. Их марка — наша десятка. А за маленькую булочку хлеба так триста наших рублей надо отдать.

— А я и триста могу дать. Торговаться, говорю, не буду.

— Нет нужды мне с тобой торговаться. Только послушай, что скажу тебе, — женщина наклонилась к Насте, потом оглянулась, будто кто-то мог подслушать их разговор. — Больше никому такие сказки не плети. Моднее надо обманывать.

— Не хотите мне верить? Не надо!

— А я теперь только Богу верю. Хочу попросить тебя вот о чём. Ты, когда стемнеет, приди к моему дому, только от сада приходи, чтобы никто не увидел. А я тебя встречу. Может, Владку моего посмотришь. Его проклятый немец на станции железным прутом отстегал. Так теперь лежит мой хлопец, на ноги встать не может.

Настя обрадовалась.

— Так можно сейчас пойти, я его и посмотрю.

— Боюсь, чтобы беды не было. Галька эта так и шпионит за мной. А тебя она запомнила, поверь мне. Ты сейчас уходи, чтобы тебя никто не заметил, а когда стемнеет, я тебя буду ждать в саду.

— Ждите, я обязательно приду.

Настя обошла реденький молодой березняк и сразу увидела картофельное поле, разделённое песчаной дорогой. Картошка около дороги была вся выбрана, сухой картофляник там-сям торчал из земли. Невыбранная картошка была только в центре поля, и Настя направилась туда по еле заметной тропинке. Вдруг сзади заржал конь, она оглянулась, испугавшись, — следом за ней быстро, словно перерезая дорогу, катила подвода. Никуда не спрячешься, до березняка слишком далеко. А впрочем, зачем ей прятаться? Кажется, человек на подводе без оружия.

Настя бросила быстрый взгляд, но этого хватило, чтобы рассмотреть возницу. Мужчина был в латаных штанах, в коричневой рубашке с измятым воротником, засаленная кепка надвинута на лохматые брови, щетина короткой бороды как будто присыпана пеплом от осевшей на ней пыли. И сидит мужчина уж очень форсисто, свесив над передним колесом босые ноги, сведённые крест-накрест.

Телега катилась рядом, не вырываясь вперёд, но и не отставая. Так тянулось минут пять, и Настя, смутившись, неожиданно остановилась. Возница тоже приостановил коня.

— Ишь, какая гордычка, — проговорил со смешком мужчина на подводе. — И не попросит, чтобы подвёз.

— Спасибо. Мне недалеко. Может, как раз это поле и нужно.

— Бульбочки дармовой захотелось?

Настя совсем смутилась. Но ответила твёрдо, с вызовом, подчёркивая нежелание говорить:

— На что надо, на то и нацелилась.

— У-ух ты, какая норовистая. Такой помощник мне и нужен. Пойдёшь в помощники, смелая? Да не пугайся — работки всего на две минутки: поможешь мне мешки забросить на воз. Бульбы себе накопаешь, сколько поднимешь, — и словно всё уже решено, добавил: — Садись. И на мою работку не нагоняй лентку.

Весёлая молодцеватость, которая прозвучала в голосе возницы, вызвала доверие, смущение исчезло, и Настя смело села на подводу.

— Н-но-о! — возница дёрнул вожжи. — Теперь, как тот говорил, слушай сюда. Я — Фёдор. А ты?

— Зина, — сказала первое, что пришло в голову.

— Пусть себе и Зина. Но не из нашего магазина. Н-но-о! — он снова дёрнул вожжи, взглядываясь вперёд.

Скрипел под колесами песок. Прислушиваясь к этому мягкому звуку, возница тихо, как будто для себя затянул песню:

— Они ехали молча в ночной тишине, по широкой украинской степи... Славная, между прочим, песня. А ты чего не подтягиваешь?

— Беда вокруг у людей, а вы — песня.

— Буду, скажу тебе, без песни не одолеешь, — рассудительно, без обиды заметил Фёдор. — Если беда навалилась, а человек только то и делает, что тоскует, — пропадёт.

Дорога вошла в березняк. Фёдор остановил коня, бросил Насте вожжи, приказав следить за дорогой. А сам, оглянувшись, бросился к молодым ёлкам, вытащил из-под них длинный широкий мешок, завязанный белой проволокой, потом вытянул другой и замахал рукой, подзывая Настю. Она застутилась, не зная, за что зацепить вожжи, и Фёдор сердито крикнул:

— Бегом! Конь умный, не сбежит!

Настя подхватила мешок, стараясь казаться сильной, не сгибаясь, потащила его к подводе, но сил не хватило, и она еле-еле сумела дотащить его к колесам. Второй мешок, который оказался тяжелее первого, был завязан коротко и, не успев передохнуть, едва переступив неглубокую борозду, густо заросшую конским щавелем, она выпустила мешок. Фёдор от неожиданности споткнулся, грузно сел на землю.

И, подбадривая её, снова приказал: — Берись, берись...

Шатаясь, обессиленная, она взялась за тёплый хохол, помогла забросить мешок на подводу. Фёдор быстро растряс слежавшийся пласт увядшего кле-

вера, набросал его на мешки, заставил Настю сесть около них и дёрнул поводья:

— Но-но-о, родимые!

Подвода минула реденький березняк и покатила по густому молодому сосняку. Он вдруг хлопнул концами вожжей по ладоням, обернулся к Насте и, хитровато сощурившись, признался весело:

— А вдвоём, скажу тебе, веселее воровать. Ночью, один, пока я эти мешки нашинковал, а надо было ещё с поля унести да спрятать, потому что коня не было. Коня сегодня занял. А тут и ты подвернулась на счастье...

Молодой сосняк закончился, по левую сторону дороги открылось картофельное поле.

— Видишь? — Фёдор махнул рукой, в которой были зажаты вожжи. — Как будто корова языком слизала. А комендантский приказ был строгим: бульбочку аккуратно выкопать и свезти на станцию. А мы на тот приказ плевали. Правленцы поделили клин между деревнями. И ночью каждая деревня выкопала свою делянку. Поработали славно, по-стахановски...

Фёдор повернул коня с дороги, теперь ехали краем редкого орешника, по опушке, направляясь к дому, который стоял немного на отшибе, как бы отгороженный от деревни длинным садом.

— А это ваш конь? Он давно у вас? — спросила Настя, сжавшись от ожидания.

Фёдор ответил, немного помедлив, как будто даже с неохотой:

— У братовой жены его попросил. Кому счастье так счастье... На той неделе её Димка пошёл в лес жердину срубить. А в конце поля — вот этот Каштан стоит. И ты скажи, ведь не знали, как его зовут, а позовёшь: Каштан, Каштан — сразу голову поворачивает.

— А что, около коня никого не было? — прервала его Настя.

— На земле солдатик лежал убитый. Молоденький, белявенький такой. Видно, пуля его где-то зацепила, а конь вынес его из огня. Умер и на землю упал. А Каштан стоял, ждал, пока его хозяин не поднимется. Не поднялся. А конь всегда человека понимает и чувствует. “Ты, конёк вороной, передай, дорогой, что я честно погиб за рабочих...” — Какое-то время ехал молча, свесив голову, потом мужчина продолжил рассказ: — Мы солдатыка того на кладбище похоронили, там и кладбище недалеко — как знал, куда ехать. А где-то же его ждут, слёзы льют. — Он покачал головой. — Так его хоть по-людски похоронили. А что я в Полоцке видел, что там делается! Сотни солдатиков наших согнали в лагерь, за колючую проволоку. И стреляют беспощадно. И в первую очередь кого? — и сам ответил, картавя, подстраиваясь под немецкую речь: — “Камандирэн, палиткамисарэн унд юден”. На той неделе я там был, брата Лёньку искал. Так наши пленные за той колючей проволокой — как мухи мрут. Их в ров волокут и бросают. Даже землёй не присыпают, потому что завтра — новый пласт ложится из тел...

Он замолчал, как будто чего-то ждал от Насти, и она, чувствуя искреннее доверие к Фёдору, спросила его, может, слышал, где теперь наши.

— Слышал, — ответил он, как будто был готов к этому вопросу. — Но лучше, чтобы мои уши этого не слышали. Смоленск им, гадам отдали! Это же не город, а крепость на холмах. А может, наши снова его взяли, как ты думаешь?

Фёдор ждал ответа, и Настя начала сомневаться: чего это она так доверяет человеку, которого до этого дня никогда не видела и не знала. Сомневалась, колебалась, что же всё-таки ему ответить. А с губ сорвалось:

— А может, совсем и не отдали его наши! Теперь люди такое плетут, слушаешь, так уши вянут!

— Вот это ты правильно делаешь, что с незнакомым человеком не говоришь искренне. Но я о тебе столько знаю, что ты очень удивишься, когда услышишь.

— А мне и хочется услышать!

— Тогда слушай. Ты ищешь человека, с которым у залесской продавщицы была, а потом на винокуренный завод поехала. Правда? Правда. Ты комсомолка? Комсомолка. Парабеллум имеешь? Имеешь. Что, хватит вопросов на сегодня?

— Вопросов и я могу вам столько накидать, что Каштан не потянет, — пошутила Настя, смущённая и растерянная. Страха, тем не менее, она не испытывала, сердечко её никакой беды не предчувствовало.

— Так я не только вопросы тебе задаю. Ты послушай моего совета: того, с кем на заводе была, не ищи. Немцы его на станции повесили. К тому же надо тебе быть более осмотрительной. Твой парабеллум под кофточкой издали виден. И третье... Хорошо, если только я один заметил, как ты из лесу убежала и со Степанихой разговаривала... Она, знай, человек наш. И Владка у неё парень хороший. Но уж очень горячий и неосмотрительный. Ну, разве можно было с тем немцем, что погрузкой руководил, огрызаться. Не одного тебя, всех залесских парней на разгрузку погнали. Стерпи. Так не захотел же. Отстегали, паразиты, пластом лежат. Неизвестно, когда и на ноги встанет.

Они приблизились к палисаднику, в котором около молодой антоновки, густо увешанной яблоками, цвели бледно-розовые мальвы. Реденький штакетник как бы связывал в одно небольшой сеновал под гонтовой крышей и дощаник, около которого были разбросаны дрова. Скособооченные ворота сеновала были не починены, и Фёдор подогнал подводу к нему вплотную, взял мешок, приказал коротко и отрывисто:

— Помогай. Если кто и увидел — клевер Фёдор привез. А потом мешки в свинарник запрячу...

Настя делала всё, что ей приказывали, машинально, словно во сне. Неожиданные известия, которым сердце просто не хотело верить, бежали только в одном направлении. Кто же этот не знакомый ей до сих пор Фёдор? Даже когда она сидела и запивала холодным молоком свежий житник — Фёдор почти силой затянул её на просторную застеклённую террасу, — она терлась в догадках... А молоко вкусное и холодное. И свеженький житник! Кажется, она никогда пила такого холодного молока... А как внимательно на неё смотрят глаза Фёдора.

— Налить тебе ещё? — Он взял почерневший от времени кувшин, оплетённый снизу берестой.

— Спасибо. Это будет уже третья...

— А ты не считай. Пей и ешь, пока рот свеж. И не стесняйся.

— Спасибо. Сколько я должна вам за хлеб и молоко?

— У-ух ты! Гордая, да ещё и богатая на деньги!

Она положила на стол пачку тридцаток. Фёдор взял их, развёл веером, как будто пересчитывал. Оживился.

— А мы с тобой — одного поля ягодки. Фёдор бульбочку с колхозного поля ворует, а Зина, что не из нашего магазина, — банк где-то ограбила. Обрати внимание: номер за номером на тридцатках. Значит, по рукам деньги ещё не ходили.

Настя отсчитала две тридцатки.

— Этого хватит? Тогда спасибо за всё, а мне надо идти.

— И гордая, и на деньги богатая, и на ноги быстрая, — засмеялся Фёдор. — А ты послушай, что я тебе скажу. Тебе необходимо продовольствие, сама сказала. Бульбы много на себе не потянешь. Что та бульба! Сало, хлеб, соль — без этого в лесу не обойдёшься. И то, и другое, и третье ты, если и купишь сегодня, то в одной пригоршне понесёшь. Деньги теперь — пустая бумага. А вот за сапоги, которые у тебя на ногах, можно кое-что выменять. Избавляться тебе от них надо как можно быстрее.

— А почему я должна от них избавляться, мне в них удобно.

— Зато стучат они громко. И каждому глаза мозолят. Теперь люди не фасонистые: всё больше в лохмотья одеваются. А ты в каких сапогах щеголяешь — в армейских, комсоставовских хромовиках. Да первый полицай на них глаз положит. Вцепится и живьём сдерёт.

— На тот глаз у меня накидка есть. Выстрелю, — сказала Настя.

— Один глаз, может, и выбьешь. А вдруг их будет много! Так гавкнут, что десятому закажешь. Так что снимай комсоставовскую обувь. Мы её на сало и соль сменяем, а ты скороходы наденешь...

Не вставая с низкой скамеечки, он запустил руку за высокий, покрашенный в яркий бордовый цвет порожек и вытянул мужские ботинки.

— В самый аккурат будут, — сказал он деловито. — Тут и стелечка есть. Обувай.

И снова, словно загнипнотизированная, Настя делала то, что ей приказывал Фёдор. Сухие холодноватые ботинки приятно ласкали кожу. И шнурки протёртывались легко. Хорошие ботинки, мягкие, и ногам в них уютно.

— Мне надо идти. Я пойду...

— Вот горе на мою голову, — Фёдор глянул на ходики, которые висели в углу террасы, стремительно открыл двери. — Сейчас же дают сводку. А я тут про соль и сало с тобой толкую...

Он исчез в доме, оставив полуоткрытыми двери. Там что-то пискнуло, как будто резанули железом по доскам, потом мягко стукнуло, скрипнуло... И вдруг из динамика послышался не очень громкий, но выразительный голос:

— Говорит Москва. От Советского Информбюро...

Настя замерла. От волнения у неё пересохло во рту, забилося сердце. Приёмник! Это же Фёдор включил приёмник! И Москва передаёт сводку о событиях на фронте! Она затаила дыхание, влущивалась с напряжением, до боли в висках.

— Ставка Верховного командования преобразована в Ставку Верховного Главнокомандующего. Президиум Верховного Совета СССР назначил товарища Сталина Верховным Главнокомандующим Вооружённых Сил СССР.

...За мужество и героизм в партизанской борьбе в тылу врага против фашистских захватчиков Президиум Верховного Совета СССР наградил орденами и медалями большую группу белорусских партизан. Это первые партизаны, которые награждены орденами и медалями Советского Союза.

...Издан приказ Военно-инженерного управления Красной Армии о немедленном развёртывании строительства оборонительного рубежа и специальных сооружений внешнего пояса обороны Москвы.

...Авиация Краснознаменного Балтийского флота нанесла бомбовый удар по военным объектам противника в Берлине.

Голос диктора внезапно смолк. За дверями снова что-то свистнуло, и на террасу вышел Фёдор. Лицо его было хмурым и замкнутым, прищуренные глаза смотрели в одну точку во дворе.

— Плохо, значит, — глухо проговорил он. — Вчера передали, что две наши армии вырвались из кольца под Смоленском и организовали оборону на рубеже речек Воп и Днепр. А сегодня хотя бы одно слово о событиях на фронте. Говорят: наши войска ведут тяжёлые бои на отдельных участках фронта, а сегодня и этого не сказали. Одно только радует: не скрываем, что говорим о рубежах обороны под Москвой. Значит, есть силы, если об этом говорим вслух.

Он, сторбившись, взял Настины хромовики, вышел на террасу и исчез за дощаником. Почти сразу же и вернулся, неся какой-то небольшой узелок в руках. Молча взял Настин вещмешок, положил туда свёрток и, завязав шлейку, объяснил:

— Соль и сало тут. Я вряд ли сегодня хромовики поменяю. Отдохнёшь пока на сеновале. Я скоро вернусь. Дождись меня, не исчезай.

— А вдруг кто придёт? Что мне говорить?

— Сиди и жди! Я вернусь.

Настя сидела на сеновале, где приятно пахло яблоками, и думала, что именно сюда и надо ей перевести раненых, даже не в дом, который стоит на отшибе, а на этот сеновал, спрятанный от постороннего взгляда старыми яблонями! Можно сделать двери в том фронтоне, тогда вообще всё будет хорошо. И сухо здесь, не то что в том погребе на болоте. Как славно пахнет свежее сено. Подстилочка мягкая, и место такое уютное... Спать тут — такое наслаждение. Но спать нельзя. Фёдор что сказал? Сиди и жди! Надо дожидаться его и поговорить обо всём откровенно. Где-то гудят самолеты. В лесу редко был слышен самолётный гул, всё глушило болото и лес... Гул приближается быстро, да и не самолёт это вовсе, где-то поблизости гудит машина.

Настя всполошилась. Да, она не ошиблась. Машина это, и остановилась

совсем рядом, около дома. Стукнули дверцы кабины, теперь другие. Разговор на немецком... И голос Фёдора — громкий и звучный:

— Мой дом, мой!

Настю пробил холодный озноб. Да, не просто посадил Фёдор её на этот сеновал. Дождалась. Заманил, даже лестницу убрал, чтобы не убежала! Но просто так она им в руки не дастся. И первая пуля будет ему, предателю этому проклятому.

Она вытянула парабеллум из кобуры, подползла к узкой двери, затаилась. Машина стоит около самого дома, за жасмином, виден только зелёный задний борт и блестящая цепь на крюках. И Фёдор идёт, взмахивает руками, показывая на дом. Следом за ним следует кто-то в черном пиджаке, с карабином на плече. На рукаве широкая белая повязка. Немец в расстегнутом френче топает вдоль штaketника, стебает хлыстом подорожник. Теперь остановился около палисадника, наклонился над мальвой, водит носом по крупным розовым цветам — с наслаждением нюхает.

— Я же не скрываю, господин староста, — и громко, и звучно снова зазвенел голос Фёдора. — Не хотел везти её, сырую, в земле перепачканную, на станцию.

— Приказ был какой? Выбрать и везти. А ты почему нарушаешь? Теперь на своём горбе и потащишь. Я человек добрый, поэтому сделаю тебе скидку: от одного мешка тебя избавлю — грузы на машину. А другой — на горбе будешь переть!

Мужчина с карабином на плече теперь стоял совсем близко, лицом к сеновалу, и Настя узнала его. Это же тот толстяк, который был на дворе продащицы! Оказывается, он староста. А Фёдор не предатель! Специально говорит так громко, чтобы предупредить, уберечь её от беды.

Фёдор вытянул мешки с картошкой во двор, но в сторону сеновала даже не смотрел.

— Чего остановился? — рявкнул толстяк. — Тяни к машине.

— Тяжело одному.

— А ты жену позови. С ней, мне передали, вёз бульбу.

— У меня братова жена заболела, так она поехала к ней. А погрузить какая-то беженка помогла — шла дорогой. Хлеба дал ей, она и помогла.

— Беженка? А может, жидовочка, как прошлый раз? Где она?

— Да пошла, сказала, что на Полоцк...

Толстяк погрозил Фёдору кулаком:

— Ну, Дубчонок, смотри у меня. Ещё раз замечу, что какую-нибудь беженку будешь привечать, оторву голову, понял? Грузы мешок.

— Я же говорю, что тяжело одному поднять. Пусть этот, что мои цветы нюхает, поможет. Им же бульбу везём...

— Ты-ы что? — толстяк сбросил карабин с плеча и дулом ударил Фёдора в бок.

Подожёл немец, стоя в расстегнутом френче, он равнодушно смотрел на разыгравшуюся сцену, изредка постёгивая хлыстом примятый подорожник. Толстяк что-то сказал немцу, и когда Фёдор, согнувшись, поволок мешок к машине, тот, вызверившись, больно ударил его хлыстом по спине:

— Фауль русише хунд! Ферфлюхтер*.

Предохранитель сделался мягким, Насте показалось, что он начал плавиться в руке, потом сделался каляным, и кожа ощутила полированный гладкий металл.

“Вначале по тем, что ближе. А тогда — по немцу... Нет, надо стрелять по немцу, чтобы не сбежал в палисадник. А толстяк не скроется”...

Она не приказывала себе, а просто определяла очерёдность действий. И в этот момент Фёдор повернулся, махнул рукой, как будто оттолкнул толстяка, закричал:

— Не стреляй! Слышишь? Не стреляй!

— Неси, носи. Стрелять не буду, — цыкнул толстяк. — Мы таких, как ты, пока кнутом учим...

* Ленивая русская собака! Проклятье! (нем.)

Левой рукой Настя сняла палец с гладкого спуска, сильно сжала ладонь, так что ногти больно врезались в кожу. Она закрыла глаза, лежала, ощущая, как согревается в ладони рукоятка парабеллума. Неприятная, холодная дрожь растекалась по всему телу... Не толстяку, а ей кричал Фёдор! Это же ей он приказал не стрелять! Как будто чувствовал, что она прицелилась, и палец был на спусковом крючке. Это же просто счастье, что она не выстрелила. Видимо, на машине есть ещё кто-то, и Фёдор, не зная, как ей это сказать, закричал, надеясь, что она услышит и поймёт! Рукой он не на толстяка махал, а ей подавал знак, чтобы не стреляла.

Только теперь Настя поняла, что едва не совершила роковую ошибку. Ну, попала бы она, скажем, в тех, кто был во дворе. А дальше? Шофёр наверняка сидит в кабине, да и в кузове, может, их полно. Стоило ей выстрелить, как они сразу же сыпанули бы во двор!..

“Сиди и жди... Так надо”.

Фёдор с трудом тянул мешок на плече. Он дважды оглянулся, и Настя увидела его красное от напряжения лицо, плотно сжатые губы. В ушах по-прежнему звучал его голос, казалось, он совсем рядом, за спиной, и она медленно и осторожно, опасаясь шороха сена, оглянулась... Во дворе уже ничего не было. Заревел мотор, и машина покатила по дороге.

Настя осторожно подползла к щели во фронтоне сеновала: теперь был виден весь куст жасмина и кусок дороги. Снова на высоких оборотах заработал мотор, шофёр дважды просигналил, гул машины начал удаляться и скоро затих.

Настя долго лежала неподвижно, сжимая в руке парабеллум. Потом положила его на край подстилки, потрогала холодный ствол с толстой мушкой на конце, начала растирать онемевшие от напряжения пальцы. Неожиданно охватило сомнение, и почему-то именно сейчас, когда миновала беда. Всё же надо было стрелять. На машине, как она поняла, кроме шофера, немцев больше не было. Значит, она испугалась? А может, всё было правильно. Она сделала то, что приказал ей Фёдор. Ведь отчаянный крик — не стрелять — был обращён именно к ней, а не толстяку.

Настя окончательно успокоилась. Видимо, самое время теперь убежать отсюда. Нет, всё же надо дождаться Фёдора! Ему можно доверять во всём. Она так и сделает: дождётся Фёдора и всё, не таясь, расскажет ему. Он даст и правильный совет, и поможет. К тому же здесь она снова сможет послушать Москву! Потом вернётся в лес, на болото, которое стало ей домом, расскажет раненым все новости, и они быстрее поправятся, поверят в то, что всё будет хорошо.

Настя ждала Фёдора до заката солнца. Изучила, казалось, на сеновале всё до последнего гвоздика. Чего только не передумала за это время, что только не лезло в голову. Но всё же старалась заглушить недобрые мысли, убеждала себя, что всё обойдётся и она, наконец, услышит немного глуховатый, словно простуженный, но весёлый и насмешливый голос Фёдора. Но когда совсем стемнело, и в сумерках на яблонях белыми каплями засветились яблоки, в душе поселилась тревога: напрасно она надеялась на доброе: Фёдора ей не дождаться...

Ей больше здесь нечего делать. Надо возвращаться на болото, где её наверняка ждут, даже сильнее, чем она здесь Фёдора.

Надо спустить жердину, по ней будет легче сползти на землю. Но прежде чем это сделать, она снова пыталась понять, что могло случиться с Фёдором. Машина покатила в сторону Залесья. Дорога на станцию идёт мимо дома Степанихи. Она что-то может знать. Фёдор говорил, что Степаниха наш человек, ей можно доверять. Степаниха или Степановна? Перепутал он, хотя нет, вспоминал больного Владку, которого немец отхлестал железным прутом. Ещё осуждал его за несдержанность... А вот теперь и сам не сдержался...

Мысли путались, перескакивали с одного на другое. Она обещала прийти в Залесье, когда стемнеет, чтобы посмотреть Владку, парень не встанет на ноги. Значит, так и надо сделать. Почти стемнело, а ей надо ещё решить, в какую сторону идти...

Стреляют!..

Услышав далёкое цокотанье пулемёта, Настя не испугалась, а открыла настежь дверь, чтобы определить, в какой стороне стреляют. Очередь шла густая и длинная... Кажется, это в Залесье. Хотя нет, Залесье совсем в другой стороне. Но именно в ту сторону, где сейчас стреляет пулемёт, поехала машина.

“А может, тот толстяк и до болота добрался? Может, именно там сейчас и стреляют?..”

Днём, когда до сеновала долетали отзвуки далёкой стрельбы и взрывов, она особенно не волновалась. Но теперь Настя насторожилась, напряглась в тяжёлых предчувствиях. Как они там? Наверное, заждались. И некому перевязать раны, накормить, защитить...

Настя решительно бросила вещмешок, потом, ловко цепляясь за жерди, прыгнула на землю.

“Ну, спасибо тебе, душистый приют!”

Подхватив вещмешок, она кинулась под яблони, обвисшие от тяжёлых, налитых соком плодов. Похоже, тропинка ведёт в конец сада. Не помешает, наверное, минуточку обождать, прислушаться, кобуру надо передвинуть под правую руку...

А яблоки такие крупные! Что, если она кинет несколько в вещмешок и отнесёт раненым? Фёдор не обидится — обещал же ей картошки накидать, сколько сможет унести. Так что вместо картошки она отнесёт им яблок...

Без особых приключений — дорогу узнала сразу, едва пересекла луг за садом, — Настя дошла до опушки. Отыскала необычно густой и плотный в темноте лещинник, с наслаждением сбросила с себя вещмешок и, став на колени, стала искать карабин. Почти сразу нащупала под шероховатыми засохшими листьями холодный деревянный приклад и на мгновение расслабилась. Как же она устала, как натёр плечи этот вещмешок! И что в нём такого тяжёлого! Три пачки соли, два бруска сала и сверху яблоки. Может, немного отсыпать их: слишком длинная впереди дорога. Видимо, так и придётся сделать, потому что хлеб уже некуда будет положить. Ведь Степаниха обещала продать ей немного хлеба. Хотя хлеб можно нести и в руках.

Вдруг впереди блеснула медная точка света. Настя сразу же пригнулась к земле. Светлая точка погасла. Но потом снова блеснула и теперь светила долго, но как-то странно дрожала и передвигалась. Кажется, этот огонёк светился в доме Степанихи. Так оно и есть. Вот снова зажётся и мигает красным цветом. Может, она какой знак подаёт? Настя прошла ещё несколько шагов в напряжённом ожидании. Стих за спиной сиповатый шелест осинового листы, ветер мягко ласкал разгорячённое волнением лицо. Предупредительный знак тебе только мерещится, а если там сидит толстяк, высматривая всех, кто выходит из леса? Сидит в засаде, покуривает, потому огонёк и мечется из стороны в сторону. Впереди, рядом с огоньком, рванул в небо огненный столб и донёсся душераздирающий женский крик... Он звучал скорбно и жалостливо. Плакала Степаниха, а её успокаивал тихий детский голос.

С правой стороны в небо взметнулась ракета и всё залила оранжевым светом. Настя увидела, что дома Степанихи нет, а только огненным столбом искрится печная труба. Дом сгорел, но запаха дыма не было — ветер дул от леса, он отгонял чад в противоположную сторону.

— Тётя Павлина, пойдём. Мы уже ничем ему не поможем. Пойдём, прошу!..

Заглушив детский голос, гулко и трескуче заработал пулемёт. Разноцветные трассирующие пули летели низко над землёй в одном направлении — над садами деревни в сторону леса. Стреляли, похоже, от школы, которая стояла на пригорке посреди Залесья. Вдруг пулемёт стих, и тогда снова поплыло тоскливое причитание, из которого вдруг вырвались слова Степанихи:

— А мой ты сыночек, ты мой родимый, ты мой цветочек!.. Это же я, дурная, недоглядела, недосмотрела... Тебя, неразумного, не спасла. Зачем только побежала на станцию. Ведь была бы дома, разве я допустила такое горе? Я бы тебя из огня выхватила, на руках вынесла... От пуль поганых защитила...

Настя слушала, прижавшись к земле, дрожа от ужаса и какого-то колкого холода, который спутал ноги и руки, медленно заползал в самое сердце. Не было сил двигаться, что-то делать, и Настя лежала, словно прикованная к неглубокой и узкой борозде.

Причитание прерывал настойчивый девичий голос:

— Тётка Павлина, пойдём же! Ведь теперь ничего не сделаешь! Беду не поправишь.

А Степаниха, оглушённая невыносимым горем, вела своё, как будто ничего и не слышала:

— Это всё Федька! Это он моего Владку подучил: оружие надо собирать, оружие... Я же это слышала. А вот не сообразила, зачем он на чердаке винтовочку спрятал, и гранаты, и патроны... Федьке я не прощу. Он же взрослый, он же с умом. Почему моего парня на нож погнал. Своего в Ленинград отослал, ещё до войны...

— Тихе, тётя Павлина. Ночью далеко слышно.

— Спалили мой цветочек ясный, сгорел мой сыночек славенький! Нет, Зосечка, доченька, скажи мне, неразумной, зачем он гранаты те бросал? Кого он спас этой своей стрельбой?

Ракета погасла, и в этой непроглядной темноте исчезла печная труба, которая совсем недавно белела на пепелище. Только торопливый девичий голосок звенел, катился по пустынной улице.

— Не вытерпел он, тётка Павлина. Я же вам рассказывала, что тут было. Фёдор тащил мешок на спине, а немец его кнутом по спине хлестал. Староста ещё и прикладом бил. Фёдор в крови: все руки в крови, и лицо, и волосы... Сил нет тот мешок тащить. А они его — бьют. Немец так всё кнутом по лицу, по глазам... Немцы, которые на легковушке прикатили, смотрели, хохотали, что-то весело кричали и пальцем показывали...

— Ну и пусть бы себе хохотали, пока кровью не зашлись...

— Вот это им и досталось! А Владка ваш герой, тётка Павлина. Он немца того, что Фёдора бил кнутом, сразу же и убил. И староста, гад проклятый, без ног лежит. Отбежался, не будет по деревне летать да железным прутом людям рёбра ломать... Не плачьте, тётка Павлина. Владка ваш герой.

— Зачем мне его геройство?.. Пусть бы жил сыночек, пусть бы песни пел. Как же он их пел с отцом, с моим Степанкой! “Утро красит нежным светом стены древнего Кремля...”

— Не надо петь, тётка Павлина. Владки нет, так не надо петь. Пойдём, тётка Павлина, пойдём. Немцы нас услышат, снова стрелять начнут.

Высокой, пронзительной нотой снова взвился голос Степанихи.

— Степанко, не смотри на меня! Стреляй по ним, гадам, стреляй. Это же нелюди! Звери на нас налетели!

— Бежим, тётка Павлина! Бежим отсюда. Слышите? Немцы совсем близко кричат.

Раздался громкий выстрел из винтовки, близко, как будто за трубой сожжённого дома, и следом за ним короткими очередями захлестал пулемёт. Голосов около пепелища не было слышно, только злобно строчил пулемёт. Прижимаясь к земле, Настя поползла от опасного места. Ползти по узкой борозде было тяжело, мешал карабин, его ремень всё время цеплялся то за стерню, то за какие-то корни.

Когда борозда закончилась, она вскочила и побежала по стерне в сторону леса. Опомнилась только на опушке. Мягко хлестнули по лицу холодные листики молодых берёзок, она остановилась, осознав, что никто её не преследует, а это страх гнал её вперед. Опираясь на карабин, она тяжело дышала, лоя ртом ароматный лесной воздух. Оглянулась — не видно ни огненных искр, на самого пепелища. Только ветер тихо шепчет в вершинах деревьев. Может, всё это ей приснилось? Может, в дурном сне были и искры на пепелище, и причитание Степанихи, и быстрый девичий голосок, и ужасное повизгивание пуль почти у самой головы?..

Снова вспыхнула ракета, теперь зелёная, и, не разгоревшись хорошо, звёздочкой понеслась к земле. Ракета погасла. Настя стояла в ожидании, настороженно прислушиваясь. Глаза привыкли к темноте, будто стало светлее...

Под этими длинными пушистыми ветками она спрятала вещмешок. Да вот же он, родненький. Обрадовавшись, прижала к себе мешок и села на тёплую шероховатую листву. Отдышавшись, ужаснулась, связав в одно всё, что пришлось пережить во дворе Фёдора и услышать тут, в борозде на ржаном поле.

“Ваш Владка герой...”

Кто же эта девочка, которая успокаивала Степаниху? Попробуй, узнай теперь. Не надо было ей прятаться, а подойти к Степанихе, сказать хотя бы слово в утешение. А она, испугавшись разрывных пуль, выпущенных просто наугад, бросилась бежать. Ну не побежала, и что бы она сказала убитой горем матери, кто она ей — чужой человек. Разве утешили Степаниху слова той девочки. А ведь девочка, видать, хорошо знает Степаниху. Смелая, отчаянная голова. Прибежала спасать человека в беде — не побоялась разрывных пуль и ракет. А ты? Всё время себя утешала, что выполняла наказ Фёдора. А может, надо было совсем по-другому поступить там, на сеновале?..

Настя поднялась, закинула вещмешок за спину, повесила карабин на грудь и удивилась. Это же так удобно: один локоть на ствол положила, другой — на приклад. Как будто твои руки лежат на скамеечке. И можно подерживать вещмешок, чтобы лямки не врезались в кожу.

Настя быстро шла по лесной дороге, радостно узнавая знакомые повороты. На втором повороте, около люпинового шнура, остановилась, вспомнила, что именно здесь ошиблась вчера, повернув не на ту тропинку. Но это не беда, в конце концов, она вышла правильно к цели, а вот настоящая беда там, где совсем недавно догорели головёшки.

На лесной дороге просветлело — это берёзы, которые стояли вдоль неё, осветлили всё вокруг. Вскоре в прогалине между деревьями замигали звёзды. А вон и низенький столбик под рогатой дичкой — могила Вахтанга...

Настя села около ствола старой берёзы. Её ветки обвисли, потихоньку, но почему-то беззвучно, мотались под порывами ветра, который изредка повевал в сторону люпинового клина. К сердцу подкатила новая волна тоски и тревоги.

Болото совсем близко. За этими старыми соснами начинается полоса ровных и тонких сосен, под которыми плотным ковром растёт вереск. В конце этой полосы дорога круто поворачивает влево, к болоту. Пройдя несколько шагов, Настя остановилась — осторожность не помешает. Вот у болота горит костёр. Горит ровно, языки пламени поднимаются высоко в небо. Наверное, это Конопелько! Но ведь он знает, что Грач запретил жечь ночью костёр!..

“Грач... Не иначе, Грач вернулся!”

Настя так стремительно поверила в это, что сердце едва не разорвалось от счастья. Вернулся, он вернулся! Сидит у костра и готовит ужин. Потому так и притягивает этот костёр, так ярко светит в ночи, ведь разжёт его человек, который уверен, что всё делает правильно, и который ничего не боится...

Настя бежала по вереску — откуда только взялись силы, — бежала, не замечая, что плачет от волнения и радости. Тревога, отчаянье, боль — всё отступило разом. Слышала теперь только одно: взволнованное своё дыхание и шорох вереска под ногами.

От костра, как выстрел, ударил встревожено — радостный и в то же время напряжённый, до отчаянной ноты голос Конопелько:

— Кто? Настя? Настя, это ты?

— Я это! Я!

— У-у-р-ра! Хлопцы, Настя вернулась!

Настя подбежала к костру, содрала с плеч вещмешок, бросила карабин и увидела чёрный закопчённый котелок, в котором поблескивала вода, схватила его, жадно, большими глотками стала пить, шумно выдохнув воздух. Потом всё же решила спросить о Граче, хотя не верила, что услышит добрые и радостные вести. Разве спал бы Грач в погребке? Нет его!

Спросить, однако, она не успела.

— С добром вернулась? — нетерпеливо наседал Конопелько. — Узнала что-нибудь о Шаплыко? А фронт? Что люди говорят?

— Дай передохнуть. Как вы тут?

— Гарнизон в полном порядке, — каким-то шутливо-дурашливым тоном ответил Конопелько.

Радость, не разгоревшись пламенем в душе, внезапно угасла, угасла совсем: Грач, значит, не вернулся...

Спросила вяло, раздражённо:

— Ты что, ошалел? Такой огонь ночью развёл. Как будто специально сюда беду зовёшь.

— Это же для тебя мы сделали, — теперь сдержанно и как будто недовольно заметил Конопелько. — Может, думали, заблудилась в темноте. Авдоля наш и говорит: зажигай, мол, маяк, чтобы издали увидела и сориентировалась.

— Огонь не только я могла увидеть. Об этом вы не подумали?

— Да кто ночью сюда полезет? Не близкий свет... — Конопелько беззаботно рассмеялся. — А тебе — знак. Я же им твердил с самого утра: Настя вернётся сегодня. А Буркун всё дудел: оплеуху, мол, каждому на ухо припечатает, если обману. А теперь — слышишь? — Авдоля ему печатки набивает на уши...

В погребке хохотал, чего-то требовал Авдошко, и Настя почувствовала, как окончательно исчезает напряжённость, глаза застилают слёзы, и, чтобы спрятать свою радость, которая наплывала на неё, снова пододвинула к себе котелок, стала пить холодную воду маленькими глотками. Вот, оказывается, как её здесь ждали! Ждали и верили в сто раз больше, чем она об этом думала. В котелке на тёмной поверхности колыхались отблески пламени, и Настя подтягивала их губами и глотала, и вода катилась в горле приятными и мягкими комочками.

Понимая, что сейчас начнутся расспросы, а она ещё не решила, говорить ли всю правду о том, что случилось, попыталась оттянуть тяжёлый разговор:

— А я вам яблочек принесла. Полный мешок. Вкусные яблоки!

Развязала вещмешок, достала яблоки. Но Конопелько даже не взглянул на яблоки:

— Яблоки — потом. Ты рассказывай. Это дороже яблок, сама знаешь...

Она сомневалась, ещё медлила, всё ещё сомневалась... Может, утаить, как лежала на сеновале и не решилась стрелять. Может, рассказать только о том, что увидела и услышала около пепелища в Залесье?

Настя не спеша положила яблоки в мешок, завязала его, прислушиваясь к знакомой боли, которая началась в затылке и медленно поползла к вискам. Что ж тут обманывать! Они страдали не меньше её, рассказать надо буквально всё, ничего не скрывая и не приукрашивая...

Проснувшись, Настя лежала спокойно, прислушиваясь к приглушённому и не очень частому ритмичному звону. Вначале подумала: идёт дождь. Полежала немного, стала прислушиваться внимательнее: да нет, это не дождь. Откуда же такое загадочное и глуховатое: “бо-ом”. В погребке темновато, даже стрелок часов не разглядеть. Сонное царство досматривало предутренние сны. Ровно похрапывает Конопелько, Авдошко сопит, причмокивая губами. Вчера он больше всех сопротивлялся, не хотел мыться. Вспомнила вчерашний банный день с улыбкой. В железной бочке — в яме за орешинной, под истлевшими досками и прошлогодними листьями — она нагрела воду, помыла всех, одела выстиранное и высушенное на солнце бельё. Устала так, что едва дошла до нар, бросилась на сухой мох и уснула, как провалилась в пропасть. И всё же проснулась всё равно раньше всех. А они, словно дети после бани, спят крепко и беззаботно. Даже этот назойливый звук их не тревожит.

Настя осторожно сползла с нар, вышла из погреба и зябко поежилась — за воротник упала большая, холодная капля. Лес стоял молчаливый, умиротворённый, окутанный густой и плотной моросью. Затуманенное небо оседало на вершины деревьев, запутывалось в толстых ветках, откуда-то, из той туманной мглы, потихоньку сочилась прозрачная водяная пыль, которая оседала на папоротник, спадала на вереск. На кончиках сосновых иголок висели крупные прозрачные капли. Близилось утро. Уже седьмой час. Скоро и день начнётся.

Только глянула на часы — снова слышала знакомый звук: да это же слетают капли с орешины, бьют по дну ведра. Вчера она так устала, что бросила пустое ведро, даже не принесла воды.

Настя схватила ведро, побежала к ручью. Пока сбегала туда и обратно, намочила всю юбку. Неприятно, неудобно в лесу, какую травинку, какую веточку ни зацепи — на тебя обрушивается целый водопад. Хорошо ещё, что вчера Конопелько посоветовал сушняка под нары натаскать. Где ж ты всё предусмотрешь? Как только наступает новый день, так начинаешь с того, что анализируешь свои вчерашние ошибки, и всегда получается: что-то не успела сделать, что-то недоглядела, что-то до ладу не довела.

Хотя о вчерашнем дне этого не скажешь. Вчера у неё в руках всё просто горело. Может, потому, что вернулась из Дягилей с хорошими вестями, принесла и крупы, и хлеба, и сала. Да ещё ту удивительную записку, которую нашла совсем случайно. Пришла она в Дягили утром, без оружия, с вещмешком за плечами — беженка идёт, сочувствия людского ищет. И едва не заплакала, когда увидела замок на дверях. Посидела во дворе, дважды вокруг дома обошла, и когда решила уходить, заметила краешек бумаги под кирпичом на углу дома: “Дорогая Зина, что не из нашего магазина, сапоги поменял удачно. То, что наменял, лежит в той хате, под одеялом. Увидимся через неделю. Фёдор”.

...Живой! Живой Фёдор! Но какая хата? Какое одеяло? Зацепилась глазами за лестницу, приставленную к фронтону сеновала, и сразу всё поняла: там, на сене, под одеялом, что-то лежит. И действительно, там лежал ладный мешок, который она, счастливая, принесла сюда на болото.

Вообще, вчера день был счастливым. Как будто Фёдор знал, что ей так нужно мыло — два куска было в мешке. И Настя на подъёме, с песней, переделала всю тяжёлую работу. А сколько было смеха и шуток, пока она перемыла всех раненых! Конечно, это не баня. Но голову помыла каждому, мокрой тряпкой вышуровала всем плечи. Но главное — бельё в щёлке выварила. Вот поэтому, видно, и спят, как дети. Но уж больно норовистыми становятся. Стали поправляться, здороветь, силы набираться, так из каждого характер так и лезет. И какая-то непонятная зависть у каждого появилась. Высмотрел позавчера Буркун в миске Конопелько лишний кусочек сала, так даже по стене стал стучать, мол, чтобы никаких любимчиков здесь не было. Подозрительно стал смотреть вечно молчаливый Авдошко.

Настя тихонько зашла в погреб, устроилась в своём уголке, попыталась уснуть. Но сон не шел, снова думала о своем удачном походе в Дягили. Фёдор — жив. И это — её счастье. Есть человек, на которого можно положиться, которому можно доверять. С какой гордостью тогда говорил он о приказе, переданном по радио, о награждении белорусских партизан. Первое награждение! Значит, партизаны есть! Их надо найти! Не исключено, что Фёдор связан с ними. Именно тут её спасение. Так что зря Настя жалуется на свою судьбу.

Проснулся Конопелько:

— Девятый уже. Надо готовить завтрак. Что варим?

— Макароны. С салом, конечно.

— Только много не клади в котелок: макароны заканчиваются.

— С чего это такая бережливость? Коня нашего проспал, так теперь совесть мучает?

— Мучает, — признался он неожиданно. — Тебе же всё на своём горбу приходится таскать.

Надо было что-то сказать в ответ хорошее, а слов нужных не было, и она промолчала...

Настя вышла из погреба. Ночью она хорошо отдохнула, поэтому настроение у неё было прекрасным, и стоило ли портить его?.. От туманной дымки, которая зависла над болотом, не осталось и следа. Дул тёплый полуденный ветер, тучки, наплывавшие на солнце, стремительно ускользали в сторуону, и всё вокруг затихало от тёплого, ласкового света.

После завтрака Настя сварила макароны и, не скупясь, заправила салом; быстро, весело болтая, перевязала Конопелько, потом Авдошко и Буркуна.

Подмела земляной пол в погребке и даже об обеде побеспокоилась: на костёр пристроила котелок с ядрицей — пока хлопочет, каша подварится, она завернёт котелок в старый ватник, и каша дойдёт сама по себе.

Прополоскав бинты, Настя сбегала и насобирала под старыми соснами коротких смолистых веток, сложила их ровненько в дощанике, оглянулась вокруг — кажется, всё в порядке, и обрадовалась — такое удачное сегодня утро: и работы столько сделала, и никакой усталости не чувствует, и тоска не душит...

Из погребка долетел голос: Конопелько снова что-то втолковывал Буркуну... Настю стала беспокоит рана Конопелько. Если раны Буркуна и Авдошко затянулись, кожа по краям стала почти нормального цвета, то у Конопелько нога начала понемногу отекает, около коленного сустава появилась слабая краснота, которой раньше не было. Настя решила, что это результат чрезмерной нагрузки: сделав себе костыли, он стал много передвигаться по их маленькому лагерю. Когда последний раз собиралась в Дягили, она вообще запретила ему ходить. Но, вернувшись, увидела, что Конопелько смастерил пристаньку у ручья и перепрыгал почему-то ящик с документами. Отчитала его, а что толку? Краснота сегодня заметна не только около колена, уже до щиколотки дошла. И, кажется, увеличилась отёчность.

“А может, я и тут виновата?..”

Подумала так и пожалела, что вчера после бани, в хорошем настроении, расщедрилась и налила каждому по капельке из той бутылки, которую прихватил на винокурне Шаплыко. Хотя именно это не могло ему повредить... Нельзя много двигаться. А он целый день с этим костылём не растает... И откуда только силы в человеке берутся, который совсем недавно буквально истекал кровью!.. В воскресенье, когда она встретится с Фёдором, надо будет договориться, чтобы раненых все же переправить в деревню. Есть же у него верные друзья. Только бы встретил её, только бы дождался!

Ей даже жарко стало. Прямо сейчас надо к нему идти, немедленно! Мешок на крыльце оставить, под тот кирпич положить записочку. Надо идти!

Настя сняла с огня котелок, понесла в погреб... Тревожные раздумья начали терзать с новой силой.

— Ошибку я, наверное, сделала, что записку Фёдору не оставила, — сказала с она с тревогой. — Думаю, надо мне идти в Дягили, и немедленно. Наше спасение — там, и вы это знаете...

Какое-то время в погребке все молчали. Первым отозвался Буркун. Кашлянув, сказал резко:

— Надо так надо.

— Вот и беги, если тебе надо, — выпалил Конопелько. — И-и-шь, бегунья нашлась!

Тихо, рассудительно попытался остудить Авдошко:

— Третье друг друга за волосы, конечно, легко. А тут надо правильный ход найти. Поэтому порассуждать не повредит. Сомнения у Фёдора, конечно, возникнут. Мешочек схватила, мол, и хвостиком накрылась. Конечно, знак ему дать надо — это моя мысль. Но пойти завтра, перед рассветом...

— Я пойду сейчас, — прервала его Настя. — Обед у вас есть: ядрица в котелке хорошо упреет, только не трогайте прежде времени. Часа через два она будет мягкой. Вечером вернусь.

Когда собиралась в дорогу, приказала Конопелько:

— С нар, вам, голубчик, не следует вставать. Лежать, не двигаться!

— Двигаться я хотя бы немножко, но буду, даже лёжа, — пошутил Конопелько. — А встречать так наверняка выползу!

Шутка не получилась, его не поддерживали, и Настя неожиданно взорвалась: — Мне что, верёвкой вас привязывать? Вижу, придётся... Почему с Буркуна не берёте пример? Лежит человек, силы бережёт, и раны у него заживают быстрее. Будете завидовать, когда он танцевать пойдёт.

— А мне не горит, — снова попытался шутить Конопелько. Он разозлился, заметив, что остальные своим молчанием поддерживают Настю. — Во-первых, до танцев я не охотник. А во-вторых, этот лесной курорт мне по душе. Птицы поют. Тишина. Если бы ещё не храпел под ухом Буркун, так вообще — райская жизнь.

Буркун — диво дивное — никак не отреагировал на эту шпильку. А Конопелько, как ни протестовала Настя, взял костыли и поковылял за ней из погреба. Проводил до ручья и, когда прощались, сказал печально и озабоченно:

— Может, хотя бы парабеллум взяла, малина поспела, всякие люди в лес попрут...

— И я малины соберу, когда буду возвращаться. Котелок в мешок кинула...

Конопелько бубнил, как старей дед:

— Парабеллум, поверь мне, не помешает!

— Спокойнее без него идти по деревне. В тот раз я в этом убедилась.

— Поверь мне, не повредит, — в третий раз сказал Конопелько и вытянул из-за пазухи Настин парабеллум.

Настя подняла удивлённые глаза. Когда это он успел её парабеллум выхватить с нар? Буквально следом вылез из погреба! Вот теперь пусть назад и тянет. Сказала — не будет брать оружие, значит, не будет!

Конопелько поджал губы. А Настю это начало раздражать. Какая-то настырная опека! Ведёт себя странно в последнее время: делает вид, что имеет право на опеку, и относится к ней, как к ребёнку, которого надо на каждом шагу наставлять, проверять. Впредь ей надо учесть это и не всем делиться. Она, наверное, поспешила рассказать о Степанихе и смерти Владки. Конопелько сразу перебрал патроны, почистил винтовку, теперь кладёт её, и две гранаты рядом, под правую руку, когда наступает вечер. Буркун тоже хотя и шутит, а винтовку на ночь тоже кладёт рядом, проверяет перед сном.

— О-ох, и попил же ты моей кровушки, Конопелько, ну, что ещё советовать будешь? — вырвалось у Насти.

— Дорогой не иди.

— А как мне идти?

— По лесу, — не обидевшись, заметил Конопелько. — Из лесу тебе хорошо видно, что на дороге делается. Это я тебе как бывший охотник советую. Клянусь, сейчас заволокусь в погреб и пластом лягу. Пока не вернёшься, даже не шевельнись.

Конопелько поковылял назад, и она, глядя, как он с трудом переставляет самодельные костыли, с удивлением подумала, что за эти дни лесной жизни она уже сроднилась и с Конопелько, и с Буркуном, и с Авдошко.

Она шла, далеко не отходя от дороги, прислушиваясь к ласковому шепотку веток над головой. Мысли приходили тоже приятные: на радость человеку создала природа лес на земле. Какой он ни есть, а всё равно врачует душу человека, полнит сердце добротой и приятными надеждами. Сколько прошло времени, как отправилась Настя в дорогу, а уже как не бывало того осадка, что оставил на душе разговор с Конопелько. Чего стоят эти споры, поучения, упрёки? Всё — мелочь по сравнению с этим лесным величием...

“Буду возвращаться, собираю арники, видно, она лучше зверобоя по своим медицинским качествам: потому так быстро и стали заживать раны у Буркуна и Авдошко. А вот Конопелько она слабо помогает. Но всё равно, когда буду идти из Дягилей, арники надо набрать”.

Настя остановилась, стала оглядываться: дорога повернула вправо, к поляне, где люпин, а влево пошла широкая тропинка — в Дягили. Прошлый раз Настя нашла эту дорожку, которая оказалась гораздо короче. Вон и старая сосна, обозначенная беловатыми рёбрами старой подсечки. Сосны упираются прямо в ручей, который отсюда круто заворачивает от пригорка, кстати, внизу около него тогда лежали штабеля метровки.

Обрадованная, Настя бегом влетела на вершину пригорка и прислонилась к шершавой, удивительно теплой сосне. Как хорошо она научилась ориентироваться в лесу! Вон и те штабельки. Только разбросанные. Наверное, кто-то всё же был здесь и брал дрова...

Она спустилась с пригорка, похвалив себя за то, что прошлый раз рискнула и пошла напрямки и нашла эту хорошую дорожку.

Настя вышла на перекрёсток и остановилась как вкопанная: на укатанной дороге чётко был виден след машины. По всему видать, что после дождя тут катили машины, и не одна, и, наверное, в Залесье, потому что дорога ведёт именно туда.

Она забежала поглубже в лес, присела под старым рогатым можжевельником, но услышала только, как звонко заливается вблизи берестянка, как шумят вверх макушки деревьев. Гула моторов не слышно. Она ещё дальше отбежала от дороги, шла осторожно, внимательно осматриваясь по сторонам. Тревога понемногу прошла, и на опушке, увидев картофельное поле, Настя совсем успокоилась. Вытянула из мешка котелок, припрятала его под молодой раскидистой ёлочкой. Когда будет возвращаться, котелок и прихватит. А теперь остаётся самое главное: перебежать это поле. Бежать надо по борозде, чтобы незаметно выбраться на дорогу, по которой тогда ехал Фёдор.

Всё было продумано заранее до мелочей, тем не менее, Настя шла по дорожке, и в который раз повторяла и повторяла, что она должна здесь сделать. Ни в коем случае не задерживаться. Положить мешок на дрова — Фёдор сразу заметит. Если кому и бросится в глаза, так в этом ничего необычного — сушить хозяин повесил. Записку — на крыльцо, под тем кирпичом есть выбоинка. Записка коротенькая: “Зина придёт к магазину”, Фёдор сразу сообразит. Прочитает, будет ждать. Рано утром она сюда и зайвится, вон по той тропинке и придёт...

Настя перебежала-пересекла дорогу с глубокой и широкой колеёй, что оставили на песке рубчатые колёса. Лучше подальше от опасности, в глубь леса, за ручей. Вот этот пригорок надо перебежать, потом другой, перейти ручей, и там малины видимо-невидимо, котелок она быстро насобирает.

Настя немного прошла вдоль дороги и увидела справа густой и ровный, словно точно вымеренный, прямоугольник. Малины на кустах немного, но ягоды были крупными. Настя терпеливо обобрала делянку, приблизилась к молодому, вполовину человеческого роста, березнячку, пробилась через него и сразу вздохнула с облегчением: здесь не так чувствовалась жара, что допекала на том участке, дышать стало легче, даже иногда чувствовался порыв ветерка, который приятно охлаждал обожжённые крапивой ноги.

Вот уже и котелок полный, даже с верхом: Настя постелила свою зелёную, в белую полоску косынку, встала на колени около неё и, сидя так, пригоршню за пригоршней сыпала на неё крупные, спелые ягоды. Теперь надо поесть вволю этой вкусноты. Руку протяни — ягоды сами просятся, так и липнут к пальцам. А около того пня так малина ещё крупнее, просто тает во рту!

Настя опустила руки на твёрдые тёплые, похожие на брусничник, листья толокнянки и почувствовала, как струится по пальцам живительная могучая сила лесной земли. Глаза закрылись сами по себе. Настя гнала сон прочь, понимая, что спать тут нельзя. Она только полежит немножко, прикрыв глаза, послушает тихое шелестение берёзовых листьев, отдохнёт под едва уловимым дуновением ветерка в молодом редком малиннике...

Настя вырвалась из полусна, села, с трудом разлепила непослушные веки. Солнечный свет резанул по глазам, сделалось даже темно, она устала в землю. Темнота исчезла, она увидела около ног тёмно-зелёные, почти чёрные листья толокнянки, лоснившиеся на солнце, и уже не в сладком сне-полусне, а реально услышала: где-то с левой стороны, не очень далеко, что-то глухо бумкнуло. Настя оперлась ладонями на каляный и тёплый ковёр толокнянки, услышала, как зашуршали листья. Собралась вкочить и, подняв глаза, почувствовала, как от удивления и ужаса у нее остановилось сердце: “Немец!!!”

Взгляд охватил широкую панораму вырубки: узкая лента молодых берёзок, взгорок с единственной ёлкой, в которой обрублены все нижние ветки, обрублены очень высоко, как будто к ним добирались, подставив лестницу, машина в конце старого заросшего травой зимника под соснами, чёрные фигуры людей, которые таскали метровки, бросали их в кузов, они падали на дно машины с громким бомканьем. Но и этот звук, и детали всей панорамы, что охватил мгновенно взгляд, отодвинулись далеко. Реальным был только немец: в рыжем табачного цвета френче, расстёгнутом на все пуговицы, такого же цвета пилотка, чёрная широкая пряжка ремня, на которой повисла сероватая майка...

“Немец! Это же немец сидит!..”

Немец сидел на корточках, подгрёбал щепоткой малину с Настинной косынки, бросал ягоды в рот, каждый раз мотая белёсым чубом, который свисал над широким потным лбом. Соком малины были перепачканы щёки и кончик тупого носа, на широком подбородке прилипла раздавленная ягода, и когда двигались скулы, эта красно-розовая ягода как будто ползла с одного конца подбородка на другой. Светлые, как пустые перловицы, глаза прищурились от удовольствия.

— Гутен таг, вальде фогеляйн, — проговорил немец, увидев, что Настя открыла глаза. Голос доброжелательный, напевный, — её поразил не голос, а то, что косынка почти пустая — последние ягоды подгрёбает. Значит, сидит здесь давно. Сидит, ест ягоды, а она спит! А теперь и поддразнивает: добрый день, мол, лесная птичка... — Настя знала немецкий.

— Гут! Алес гут! — Он стряхнул косынку, вытер ею руки, отбросил в сторону, поманил согнутым, красным от сока пальцем. — Ком, ком, майн фогеляйн!

— Ку-урт! — долетело снизу, и Настя боковым зрением заметила, что работа около машины остановилась, все смотрят сюда, на пригорок. — Хватай птичку за крылья. Вспорхнёт — не поймашь!

Крикнул кто-то, и голос снова, показалось, как будто знакомый. Настю удивило, как медленно, не спеша, с ласковой усмешкой поднимается немец. Вот он встал и согнутым в крюк пальцем, красным от раздавленных ягод, подзывает к себе, и его голос теперь звучит настойчиво и требовательно:

— Ком, ком!

Настя сжалась. Её душили слёзы отчаянья, злости, обиды. Фогеляйн, значит... Лесная птичка... Вот и попалась, словно тот неразумный птенчик, в петлю. И схватят её сейчас за крылья, как советуют те, что стоят около машины и наблюдают. Почему ей кажется, что этот голос ей знаком?... А этот Курт, немец, всё одно и то же: “Ком, ком...” И всё ближе, ближе к ней... Руки у него огромные, пальцы красные и блестящие от сока ягод...

Она услышала выстрел, видимо, около машины.

“Глупая! Надо стрелять!”

Мысль возникла внезапно, рука автоматически потянулась, чтобы схватить твёрдую кобуру, но пальцы ухватились за холодную ручку котелка... “Глупая! Я же не взяла парабеллум!”

И это неожиданное, как молния, открытие подкосило Настю.

В виски ударила холодная волна, вмиг остудившая голову. Гулко билось сердце, под его ударами, казалось, выгибаются рёбра. Настя, онемев, смотрела на немца, который дышал, широко открыв рот.левой рукой немец схватил Настю за плечо, а правой, с красно-малиновыми пальцами от ягод, потянулся к котелку, подёргал за ручку, потом взял обеими руками, потянул осторожно и как-то игриво, словно дурачась.

“Ах ты, гад. Хочешь забрать мои ягоды. Так нет же, не отдам!”

Мелькнула спасительная мысль, что немец решил забрать ягоды, и надо отдать их и броситься бежать. Бог с ними, с этими ягодами, пусть берёт и идёт к машине.

Так думалось, но из горла, сухого и шероховатого, само собой выкатилось:

— Не отдам... Моя малина!

Немец, как будто поняв её, молча покачал головой и резко выхватил из Настинной руки котелок. Потом слегка потряс его, как будто утрясал ягоды, осторожно поставил на чёрный сосновый пенёк и снова протянул к Насте руки.

— Майн фо-огеляйн...

Настя не успела вскочить на ноги, немец стремительно, как коршун, схватил её и бросил на спину. Одной рукой он держал её за горло, а другой сильно дернул за юбку. Пояс был узким, влажным от пота, и пальцы немца скользнули по нему. Изловчившись, Настя подогнула ногу и коленом ударила немца. Метила в пах, но не рассчитала, колено ударило в живот. Сразу почувствовала, что пальцы отвалились от шеи; дохнула жадно, в полную грудь, и вскочила.

— П-пусти!

Настя закричала, попробовала вырваться, вцепилась зубами в сильные загорелые руки. Но голова её мотнулась в воздухе, и ей показалось, что она летит куда-то в бесконечное солнечное пространство. Подбросив её в воздух, немец, однако, не выпускал Настиных рук, дёрнул за них, и она упала спиной в брусничник...

Курт сбросил френч, закатал рукава и согнулся над Настей. Она снова рванулась. Но ноги её были уже прижаты к земле тяжёлым и грузным телом. Она почувствовала на своих бедрах его твёрдые пальцы, почувствовала, как ползёт по коленям разорванная юбка, и закричала отчаянно, осознавая тщетность своих усилий. Правая рука оказалась свободной, и Настя дотянулась до лица немца, вцепилась ему в глаза. В следующий миг раздаётся страшный стон, и она, почувствовав, что свободна, вскочила на ноги и кубарем слетела вниз по склону в густой малинник. Немцы что-то орали ей вслед, затем раздались выстрелы, но пули пощадиле Настю... Она бежала, не понимая, откуда у неё берутся силы...

Холмы, поросшие сосняком, окончились, начался густой лиственный лес, где, тесно сплетаясь ветками, как жерди в заборе, стояли зеленоватые, местами тёмно-красные осины. Настя засмотрелась на солнце, что всходило где-то далеко за теми осинами, без радости, равнодушно и печально, отмечая, что точно таким же оно было утром, вчера и позавчера. Два дня, что прошли, Настя не выходила из леса. На ночь она забиралась под сосну или ель, где на толстом слое прошлогодней хвои было тепло и уютно, а днём бродила по лесу, не заботясь о том, куда вынесут её ноги. Обливаясь горькими слезами, она бессмысленно поднималась с пригорка на пригорок, останавливалась в ласковых березняках, насквозь пробитых солнечным светом, и снова топала вперёд. Ей попадались удивительные заросли брусничника, потом она набрела на небольшое болотце, где на шершавых кочках было сине от ягод. В малинник она не заходила, боялась, обходила его. Правда, вчера, где-то в полдень, всё же забегала. Он открылся неожиданно, когда вышла из густого сосняка. На краю малинника, на пенёчке, сидела молодая женщина в белой косынке. Настя крикнула ей что-то, теперь уже и не помнила что, но женщину словно водой смыло. Настя выскочила из малинника, увидела около пенёка какой-то маленький свёрточек, схватила его. В нём лежало два кусочка хлеба и между ними тоненькие ломтики сала. Хлеб и сало она съела, спрятавшись в сосняке. Но женщина к ней так и не вышла, и она снова побрела по лесу.

Ночью проснулась — мучила жажда. Потрогала мягкий пласт хвои, будто надеялась, что сейчас же и найдёт канавку с водой, вспомнила пристаньку у ручья, которую смастерил Шаплько, а потом достроил Конопелько, и снова залилась горькими слезами. Слезы принесли облегчение, и неожиданно созрело решение: утром она должна выбраться из леса. Завтра же воскресенье! А в воскресенье её ждёт Фёдор. Она зайдёт к нему, расскажет о погребке, попросит забрать раненых, а сама пойдёт своей дорогой. Ждать Грача она больше не будет. Он, Грач, во всём виноват! Почему он не вернулся? Зачем бросил её? Если бы он не бросил её около того болота или вернулся во время, не попала бы она в беду, не лежала бы сейчас здесь, под старой ёлкой, и не обливалась горькими слезами... Жалость душила больше, чем жажда, Настя плакала, слизывала солёную горечь с губ, и снова уснула.

Во сне она бежала. Бежала вниз по склону, прижимая правой рукой парабеллум, а левой — держала котелок, полный крупных, как из воска, белых ягод. Сзади, за спиной, бухали сапоги, но она не оглядывалась, бежать было легко, словно кто-то тянул её вперёд невидимой верёвкой. Ветки сильно хлестали по котелку, и этот глухой звук басовито отзывался, словно где-то в низу, под ногами, молотил раз за разом бубен. Впереди кучкой стояли синеватые сосенки, окружённые кольцом берёзок, и Настя знала, что там, около этих сосенок, она повернётся и выстрелит...

Когда Настя проснулась, в лесу была разлита предрассветная серость. Заныло сердце, жажда, которая мучила ночью, стала невыносимой. Настя

бросилась к тёмному блодцу, которое неожиданно блеснуло из-за ствола старой берёзы. Ручей! Наконец она нашла его! Наконец она избавится от этой сухости, что выпотрошила ей горло и душу.

Став на колени около ствола старой берёзы, упираясь руками в толстый корень, что ровной дугой стоял над ручьём, Настя жадно, по-собачьи хлебала воду. Пила долго, большими глотками и никак не могла утолить жажду. Потихоньку сухость во рту проходила, но от холодной воды стали ныть зубы. Настя оттолкнулась от корня, прилегла около шероховатого, в глубоких расколинах берёзового пня. Жажда всё ещё пекла, хотя было такое чувство, что вода стоит в горле. Если бы проглотить этот комок, то можно было ещё похлебать, чтобы залить, задуть её окончательно. Но двигаться, а тем более наклониться к воде не было желания. Настя лежала и смотрела, как шевелятся на бережке зеленоватые столбики хвоща.

Словно в коротком суетливом кино, перед глазами проплыли события последних дней. Рисунки мелькали быстро, некоторые были расплывчатыми, и только выразительно выделялись самолёты с крестами на крыльях, что стремительно нависли над их эшелонами. Там начало Настиной беды, отсюда, с того косогора над насыпью, и понеслась под откос Настина жизнь. Если бы она тогда не побежала к тому ручью, не отстала от поезда, сейчас была бы с мамой, работала в каком-нибудь госпитале...

От этих мыслей зануло сердце, но в душе начала расти ненависть к своей слабости.

Она поднялась. Мысли были чистые и ясные. Хватит шататься по лесу! Надо идти в Дягили. Завтра — воскресенье! Фёдор будет её ждать. Но почему он должен её ждать? Это она будет ждать его. Затаится около дома или в саду спрячется, и будет ждать. В конце сада стоит небольшая старая банька. Вот в ней она и затаится, а к дому, наверное, не стоит даже близко подходить.

Настя поправила юбку, в трёх местах завязанную толстыми узлами — пригодилась та тряпица, в которую были завёрнуты хлеб и сало! — оторвала доску от кофты и завязала волосы. Только теперь догадалась, почему так испуганно бросилась бежать от неё та женщина. Конечно, бросишься убежать, когда кинется к тебе такое создание: разорванная юбка, лохмотьями висит кофта, волосы вклокочены, да ещё шипит каким-то хриплым голосом.

Настя, как могла, привела свою одежду в порядок. Главное теперь — она может двигаться. Юбка и кофта не свалятся, волосы не будут цепляться за ветки.

Вспомнила о болоте, о погребке, где её наверняка ждут. Желания возвращаться туда не было: ждали два дня, подождут ещё немного, пусть лежат, набираются сил. перевязки она делала через два дня, так что нечего туда спешить. Тревога, однако, не давала покоя, но Настя усилием воли заглушила её: о них же забота, не только о себе. Чем раньше она найдёт Фёдора, тем лучше будет всем.

Она шла по лесу быстро и уверенно. Но то спокойствие, которое на какой-то миг поселилось в сердце около ручья, исчезло. Нет радости. Нет покоя. Слезы душили её, она больше не могла удержаться и снова, как тогда, громко и отчаянно зарыдала... Когда успокоилась и оглянулась вокруг, поняла, что потеряла ручей. Всё время он был справа, всё время поблескивал за можжевельником. Теперь же и кустов тех не видно.

Настя выгнала слёзы, быстро взбежала на пригорок: да вон же ручей! Нигде он не потерялся, вон, родненький, хорошо и весело блестит на солнышке. И уже довольно широкий! Да, правильно говорил Конопелько, ручей в лесу — ниточка надёжная. Вот за эту ниточку она и будет держаться. И хватит, хватит лить слёзы! Только ненависть она будет растить в сердце! Растить каждую минуту, каждый миг своей жизни, чтобы потом не дрогнула рука, когда будет нужно стрелять точно, как она стреляла в институте!

Впереди посветлело, и Настя ускорила шаг. Близко опушка и сейчас будет поле — то знакомое поле, за которым вьётся дорога на Дягили. Нет, это не поле. Кажется, вырубка. Очень старая, и в конце малинник. И какой-то уж очень знакомый широкий пенёк. Это же на этом пне сидела тогда женщи-

на, что юркнула в малинник, когда увидела, что к ней бежит Настя. Тот это пень, тот. Значит, где-то недалеко деревня!

Настя обошла вокруг знакомого пня, снова и снова убеждая себя в том, что деревня где-то недалеко. Пень напомнил про хлеб и сало. Не видела его, так и есть не хотела. Может, какой кусочек тогда затерялся? Нет, только седой мох, ни одной крошечки хлеба.

Она снова шла по лесу, пытаясь приметить что-нибудь знакомое. Лес вдоль ручья густел, земля под ногами становилась мокрой. Наконец мягко зачавкал торфяник. Похоже, начинается болото. Но места совсем не знакомые: тут Настя ещё никогда не ходила. Ручей стал ещё шире. Как теперь его перейти, чтобы не попасть в ещё большее болото? Сколько же тут комаров, даже в рот налезли. Надо, видимо, ориентироваться по солнцу. Солнце, помнится, заходило по левую сторону дома, когда они на колесах ехали к саду Фёдора. Да, солнце садилось по левую сторону от дома.

В глаза ударила ослепительная синева, и в густом синеватом облаке мелькнуло лицо матери. Мама смотрела, грустно, зажав рот рукой, в глазах отражались боль и тоска.

— Переживётся, доченька, переживется, милая...

— Ма... Мамочка! — из груди вырвался сдавленный, хриплый стон.

Да, это был её голос!

Настя снова нежно погладила ствол сосны, у которого остановилась отдохнуть. Нет, не с этим молчаливым деревом она разговаривала. С мамой она говорила, ей рассказывала обо всём, что приключилось с ней за эти долгие мучительные дни. Всё рассказала без утайки. Настя исповедалась, и мать приняла её боль, успокоила. Оттого ей стало легче на душе, боль отдалилась, и беда ушла, и больше не вернётся. И дорогу в Дягили она найдёт. Она не остановится ни на минуту, пока не найдёт тот картофельный клин, за которым около жёлтой лозы бежит дорога к деревне, где живёт Фёдор.

Ближе к вечеру, когда Настя прошла небольшую берёзовую рощу, вышла на пригорок и увидела чёрное поле, обозначенное полосками сухой картофельной ботвы, она не удивилась, а просто отметила, что первая часть её пути окончилась, теперь можно и отдохнуть. За чёрным картофельным полем не было видно ни дороги, ни деревни, ни знакомой низины с островками рыжей лозы. Но она была уверена, что это именно то поле, к которому она так рвалась, когда бродила по лесной чащобе.

Настя зашла в березняк, легла около ствола молодой берёзы и, поджав колени, сразу провалилась в сон. Сон был чуткий, как у зверя: спало только усталое тело, спали ноги, а голова бодрствовала, точнее, только какая-то частичка в ней не спала, и эта частичка чутко улавливала всё, что происходило вокруг. Улавливала шёпот листьев, далёкое воркование диких голубей, шорох прошлогодней травы, торопливое шарканье ящерицы, что пробежала у самых ног, как ползёт на запад солнце... Когда последние солнечные лучи перестали высвечивать ветки молодых берёз, она, словно по команде, очнулась, села, с наслаждением потёрла руками затёкшие от неудобной позы колени.

“Как хочется есть!.. Хотя бы кусочек хлеба...”

Первая мысль была именно о хлебе. Уже который день она ничего не ела, если не считать брусники, которую на ходу рвала и бросала в рот. Брусника была крупная, но уж больно зелёная. Ягоды на какое-то время приглушали голод, но совсем скоро он начинал мучить её с ещё большей силой, заставляя думать только о боли в желудке. Теперь голод так зажал в свои безжалостные тиски, что она решила: до утра ей просто не дожить. Если Фёдора нет, надо поискать что-нибудь съедобное в доме. А вдруг приехала жена... Нет, жене на глаза не стоит показываться. Ей нужен только Фёдор! Только он может её спасти. И она будет его ждать в той старой баньке, что стоит в конце сада.

Сухо хрустнула ветка под ботинком, и Настя напряглась, готовая броситься назад, в глубь сада, в спасительную темноту раскидистых яблонь. Постояла, прислушалась и снова осторожно двинулась в сторону дома. Кажется, висит замок. Да, замок! Записка на прежнем месте. Значит, дома Фёдора нет. И хозяйки тоже...

Всё ещё не веря в то, что видит, Настя бросилась к сеновалу. Мешок, вот он... Значит, не было Фёдора в доме, не было его и здесь. И нечего метаться по двору.

«Сяду в баньке и буду ждать. До рассвета буду ждать. Никуда не пойду, пока не дождусь».

С этой мыслью она пошла в предбанник. По пути, около сеновала, нашла пустое ведро, насобираала яблок, поставила его рядом и принялась жадно есть сочные яблоки. Стали мёрзнуть ноги, она поджала их, пытаясь согреться. Но дрожь ползла вверх, вот она уже перескочила на спину, начала трясти плечи.

«Надо подняться, пройтись по тропинке, ноги согреются, и тогда снова вернуться сюда».

Поднимаясь, зацепила рукой одежду, что висела на стене, остановилась, торопливо потрогала всё, что висело на деревянных рогульках. Кажется, юбка какая-то, пиджак, кепка... Вот так повезло! Сейчас она всё это натянет на себя и наверняка согреется. А когда встретит Фёдора, попросит прощения, что похозяйничала в чужом предбаннике.

Потом она уснула крепко, сломленная усталостью и неопределённостью завтрашнего дня.

Прснулась так же внезапно, как и уснула. Через узкие щели в двери цедились рассвет. Настя никак не могла сообразить, как это она заснула. Она же была убеждена, что спать ей нельзя. А вот же уснула... Под головой у неё лежала сложенная в узелок рубашка. Она точно помнит, что вчера эта рубашка висела на гвозде, и перед тем, как уснуть, она даже не прикасалась к ней. Как она оказалась у неё под головой? Неожиданная догадка заставила бешено забиться сердце. Фёдор был здесь! Видимо, возвращался на рассвете, увидел полуоткрытые двери и заглянул в предбанник, подсунул под голову рубашку, потом закрыл двери, оставив только узкую щель...

Испуганно закудахтала за стеной курица, в глубине сада крикнул петух и тут же стих, словно подавился, и вслед за этим послышался гул мотора. Резко захлопали дверцы машины, послышался твёрдый, настойчивый стук в двери дома, и басовитый голос заревел:

— Хозяин, открывай! Знаем, что не спишь. Один всё хочешь знать?

Послышалась немецкая речь, какие-то команды доносились со стороны улицы, и всё тот же басовитый голос настойчиво требовал:

— Открывай, слышишь? Сам господин комендант приехал твоё радио послушать. Слышишь? Если громко включишь, господин комендант простит, что до этих пор не сдал приёмник. Смелей!

Оглушая от бешеных ритмов крови в висках, Настя подползла к узкой щели в двери. Во дворе, упираясь радиатором в жасмин, стояла легковушка. Все дверцы открыты, и около каждой стоит солдат, направив в сторону дома автомат. Около крыльца медленно расхаживает офицер в зелёном френче. На крыльце стоит крупный, в длинном пиджаке с сероватой нашивкой на рукаве мужчина и с ожесточением бьёт в дверь

— Долго мы будем ждать? — снова заревел, как поняла Настя, полицейский. — Пропустим последние известия! Господин комендант специально приехал послушать. Или не говорит твоя Москва? Сдохла, наверное? Что-о-о? — Полицейский сбросил винтовку с плеча, прижался ухом к двери, потом, резко отпрянув, радостно сообщил:

— Дома он, господин комендант! Дома! Говорит, собирается открывать. Сейчас откроет. Давай, мы ждём!

Какое-то короткое время все как будто замерло во дворе, и вдруг в этой тишине громко и выразительно зазвучал голос из динамика:

«В Москве состоялся Всеславянский митинг. В обращении ко всем славянским народам участники митинга указывают на смертельную опасность, угрожающую славянам от немецко-фашистских полчищ, и призывают славян выступить на священную борьбу против гитлеризма. Обращение подписали представители русского, украинского, белорусского, польского, чешского, словацкого, хорватского, словенского, черногорского и болгарского наро-

дов, а также представители Македонии и Закарпатской Украины. Полный текст обращения мы будем передавать...”

Голос диктора заглушили выстрелы и ругань офицера. Он что-то кричал, размахивая парабеллумом, и солдаты, что стояли около машины, короткими очередями строчили по дому. Настя видела, как густо отлетала с крыши белая дранка. Полицейский бросился к окну и ударил прикладом по раме.

Динамик теперь звучал слабее, звук его как будто отдалился, слова диктора трудно было разобрать. Неожиданно над этими притихшими словами, через треск автоматов и глухие удары приклада, на отчаянно высокой ноте взвился знакомый голос Фёдора:

— Слышите, люди! Москва жива! Москва поднимает на борьбу всех славян! Уничтожайте фашистов, как диких собак! Где можете, там и уничтожайте! Уничто-о-о-жайте!

Ослепительное сине-белое пламя рвануло прямо в лицо, ударило по глазам... Насте показалось, что вокруг неё выжгло весь воздух, дыхание остановилось, напрасно она пыталась вздохнуть, лёгкие словно свернулись — она потеряла сознание. Когда очнулась и осмотрелась, предбанник был полон дыма, она попыталась открыть дверь, но та плотно была прижата чем-то снаружи. Настя поняла: если сейчас же не откроет дверь, задохнется от удушливого, смрадного дыма, и тогда ей не выбраться наружу. Она заставила себя подойти к двери, ударила изо всей силы в перекладину, дверь медленно открылась и внезапно упала в сторону, Настя словно выпала из предбанника и плашмя упала на землю. И в следующий миг до неё дошло, что она упала, поскользнувшись на траве, и лежит среди яблок, которые от ударной волны все до единого осыпались с яблонь...

“А где же дом? И сеновал горит ярким пламенем. Неужели дом Фёдора взорвали немцы?.. Нет, нет... Это же он сам!.. Около сеновала перевёрнутая легковушка, объятая пламенем. Там Фёдор! Мне надо туда! Помочь!..”

На яблоне около сеновала висели какие-то лохмотья, они мотались из стороны в сторону, словно хоругви. Такими же лохмотьями, только красными, был буквально застлан весь двор, а на том месте, где стоял дом Фёдора, зияла глубокая яма. Дом просто исчез, как будто его никогда и не было. Но полкрыльца осталось целым, оно стояло на краю ямы, чистое, как будто только что вымытое заботливой хозяйкой. И было странно видеть блестящий прямоугольник среди щепок, развороченных балок и красного кирпича.

“Парабеллум! Парабеллум лежит!..”

Настя растерянно смотрела на немецкий парабеллум, который сиротливо лежал на земле возле ступенек крыльца, и снова какая-то сила бросила её вперед, она схватила оружие, бросилась за крыльцо и распласталась на земле. В тот миг, когда почувствовала в руке знакомую прохладную тяжесть, которая мгновенно словно приклеилась к её ладони, за её спиной раздался шорох. Только теперь до неё дошло: рискованно было бежать сюда... Где немцы, где полиция? Неужели спрятались и сейчас внимательно и враждебно наблюдают за ней?!

Чадно дымит перевёрнутая легковушка, пышные языки пламени вырываются через фронтон сеновала, падают вниз; на лестнице, упавшей на перекосившиеся ворота, покачивается офицерская фуражка с блестящим козырьком — всё, что осталось от немецкого офицера...

Настя уверенно, не глядя под ноги и не оглядываясь по сторонам, шла по лесной тропе, густо усыпанной прошлогодней хвоей, узнавая почти каждое дерево, каждый кустик. С облегчением вздохнула только тогда, когда впереди просветлело и тонкие, ровные сосны как будто отскочили в глубь леса, открыв над болотом кусок неба. Всё, наконец окончилась трудная и небезопасная дорога, Настя прибилась к дому, где тишина и покой. Это чувство обрушилось волной, всё поглотило, и она свернула с тропинки и сразу увидела в густом лилово-синем вереске знакомую кочку около ствола сосны и села. Её совсем не волновало то, что могло произойти и что произошло здесь за эти дни, пока она бродила по лесу. В её сознание вдруг вошёл голос Конопелько, который звенел на высокой радостной ноте:

— Янка сеяу кавуны, а я журавины...

Радостное настроение мгновенно сменилось раздражением, которое она не могла унять: Конопелько беззаботно шутит, ему весело. Приглушённо бубнит Буркун... Опять ругаются... Снова что-то не поделили! Почему они такие неразумные, ведут себя как дети?! И так громко разговаривают, а если за орешинной кто-нибудь спрятался и теперь слушает, мотаает на ус полицай... А может, уже пилит на станцию, к немцам, чтобы сообщить о каком-то странном таборе в лесу. Ведь кто-то же навёл на Фёдора немцев!

Снова вспомнилось ослепительное пламя, что хлестануло тогда по глазам, и тревога забралась в самое сердце. Совсем неосмотрительно ведёт себя Конопелько — так дерёт горло. Она ругала и Конопелько, и Буркуна, упрекала себя и в то же время, вслушиваясь в знакомые голоса, радовалась: пусть ругаются, значит, всё хорошо, нет никакой беды. И она правильно сделала, что собрала арнику — лекарство это о-ой как пригодится, она должна поставить их на ноги как можно быстрее.

Настя поднялась, осмотрела пиджак, который довольно ловко сидел на ней, провела рукой по юбке и снова с благодарностью и болью подумала о Фёдоре, подумала, словно просила у него прощения: вот взяла у него одежду без всякого на то разрешения.

С каждым шагом, который приближал её к погребу, в душе нарастала тревога. Как-то странно звучат голоса. Ссора там, видимо, кипит не на шутку. О чем только спорят?

Остановилась около самого погреба:

— Вот где твоя порода выширает! — выкрикнул в растерянности Конопелько. — Вот же соплик перекишений. Ты что её перегибаешь да пальцем вес щупаешь?

Что ответил Буркун, Настя не разобрала. Но его ответ буквально взорвал Конопелько, голос его зазвенел от возмущения:

— Совесть у тебя есть, ты, слонтяй. Та, что идёт, её и бери. Давай ещё одну... Видишь? Двадцать у меня!..

Настя остановилась у входа. Ах, они в карты режутся! Но откуда у них карты? Те, что были, давно дымом ушли...

Настя громко кашлянула. В погребе воцарилась тишина, потом что-то со звоном упало, и она, испугавшись, что там, в погребе, не разобравшись, могут и стрельнуть по ней, сказала бодро:

— Это так меня встречают! А где почётный караул? Комендант же гарнизона прикатил. Да ещё на своих двоих!

— Ура-а-а! Настя! Настенька наша!

— Да здравствует наш славный комендант!

— Музыка! Даешь рапсодию!

— Настенька! Тебе — лучшее. Ты наша спасительница. — Буркун пододвинул на нарах ведро, в котором горбился большой кусок мяса.

В полосе света, что сочился из окна, возникла рука Авдошко, он сидел, прислонившись спиной к стене; указательным пальцем нетерпеливо подзывал к себе Настю:

— Настя, сестрица любимая! Да иди же ты сюда, я тебе всё растолкую, всё, как есть. Это же я, через окно убил дикого кабана. Точнее, я попал ему прямо в голову. А у этих, что считают себя охотниками, — патроны сырые. Чирк... А не стреляет!

В тяжёлом воздухе Настя ясно почувствовала острый запах сивухи и сразу всё поняла, растерянно глянула на пустую, перепачканную в песке бутылку, в которой ещё недавно был спирт. Как бережливо она его расходовала, боясь пролить хотя бы каплю! Настойку арники ещё собиралась сделать. Как будто предчувствуя недоброе, перепрятала бутылку, когда уходила в Дягили. Значит, нашли и выпили... И карты самодельные на нарах.

Конопелько тоже тянул к ней руки, порываясь сказать что-то. Но она опередила его вопросом, который был адресован ему и всем остальным:

— А карты откуда взяли? Это же карты, как я понимаю?

— Моя работка, — Буркун постучал себя в грудь.

Она машинально взяла в руки два бумажных клочка, разгладила, ощу-

шая ужасную пустоту в сердце. Вот на что пригодилась та ученическая тетрадь и карандаш.

— Профессионально сделано, — машинально проговорила Настя. В голове крутились совсем другие мысли, но с губ сорвались эти никчёмные и пустые слова.

— А как же! Художественное училище перед армией в первой тройке окончил, — в карих глазах Буркуна светилась гордость. — И почему только я нашу Настеньку до сих пор не нарисовал? Вот дурак. Но ведь Конопелько всё свой карандаш жалел. Вот только вчера и расщедрился, когда дикий кабан на обед прибежал. Теперь, когда карандаш национализирован, обязательно нарисую. Из погребка вылезу, посажу в вереске... Чтобы так и было: море лиловых цветов и среди них — Настенька.

Настя снова покрутила бумажные листочки, бросила их на нары, и они лёгкими лепестками опустились между Буркуном и Конопелько. Горькая усмешка появилась на лице, Настя почувствовала, что губы кривятся в какой-то большой гримасе:

— Рисовал бы портреты? А что же ты испортил бумагу на эту ненужную дурь?

— Э нет! Карты не дурь, а отдых сердцу. Сыграл разок-другой, и на душе — радость.

— И как же вы тут играли втроём?

В Настино сердце ворвалось непонятное, разрывающее его на части чувство. Ей хотелось кричать, что-то сделать такое, чтобы заставить их всех страдать, стыдиться, это чувство нарастало в ней, вместе с ним появилась жалость к ним и сочувствие к тем, кто там, в деревне, уже в полной мере ощутил и боль утраты, и ненависть к врагу.

— Но ты нас пойми, Настенька, — заметил Авдошко, как-то дурашливо усмехнулся, скребя грязными пальцами густую, блестящую от жира бороду. — Мы уже потеряли всякую надежду, что ты вернёшься. Тут ещё этого кабана подстрелили. А тебя всё нет и нет... На нарах целыми днями качаемся — голова уже не выдерживает. Хоть пулю себе в сердце... И решили мы: пропадать, так с песней.

— Каждый, значит, за себя... — распевно произнесла Настя.

— Не слушай ты, что этот бот несёт, — в отчаянье, как-то решив сразу и окончательно расставить все акценты, начал Конопелько, виновато глядя Насте в глаза, протягивая к ней руки. — А тут ещё филин вчера прилетел, сел на дичку и всю ноченьку бухал, как будто поминки справлял. Я и решил этих горемык как-то подбодрить. Когда проговорился про бутылку, так Буркун едва за винтовку не схватился: тyani, говорит, и всё!

Она смотрела в глаза Конопелько, с ужасом чувствовала, что её захлестывает волна злости и ненависти к этой его дурноватой ухмылке, к этому острому с маленькой горбинкой носу, к его узким, как будто завитым в шпурок, бровям. Значит, он подглядывал, когда она прятала баклагу. Он притащил её в погреб! Он устроил тут бал! Он подохотил их играть в карты! Он тут песни распевал, когда она стонала от отчаянья и боли, когда брела по лесу, обливаясь слезами! Он тут мясо и сало жрал, когда она, голодная, дрожа от страха, голода, засыпала в предбаннике в саду у Фёдора! Пронзительно, тонко зазвенело в висках, какой-то непонятный свет родился где-то под сердцем, ударил в глаза. Настя словно задохнулась от злости и ненависти.

— Это т-ты! Это ты всё, пьяница! — выкрикнула и наотмашь ударила Конопелько вначале по одной, потом по другой щеке. От неожиданного удара он упал на нары, руки безвольно обвисли и мотались вместе с головой.

— Ты!.. Ты тут был заводилой. А что обещал мне? Что говорил? Ещё клялся, присягал!..

Конопелько что-то промычал, и это ещё больше привело в бешенство Настю. Она хлестала его наотмашь, кричала и на него, и на всех гневно, обиженно, со злостью и ненавистью:

— Каждый — за себя! Вы так решили, пьяницы несчастные? Черкас, Шаплыко за кого погибли! За себя? А Владка за кого погиб! За себя? А Фёдор за кого свою жизнь отдал, взорвал себя вместе с немцами? А я тут,

усердствуя, о себе заботилась? Я слезами обливалась, сюда бежала. Думала, что голодные, холодные, без присмотра... А они? Каждый — за себя! А те, что на фронте головы свои кладут каждый день тысячами? Так же кричат: за себя, за себя, за себя?! Господи, какие же вы поганцы!..

И задохнувшись от рыданий, что перехватили горло, отшвырнув ногами арнику, она выскочила из погребца. Огромное, ослепительное солнце висело над болотом, от лёгкого дуновения ветра шелестели листья орешины, и Настя, словно живительную воду, глотала чистый, наполненный ароматом жизни воздух. Она стояла недолго, потом, озираясь по сторонам, медленно побрела к ручью. Наклонившись над ним, опустила руки в прохладную воду, только когда остудила жар, от которого разрывалось сердце, стала медленно пить холодную прозрачную воду. Злости уже не было, а только невыносимая усталость и предательское равнодушие сковало её тело, сделало его пустым и безвольным. Сожаления о том, что произошло в погребце, не было. Не было и ненависти, которая совсем недавно разрывала сердце и душу. Осталась только горькая обида.

“Сколько мне ещё терпеть? Сколько ещё тут страдать? Каждый, значит, сам за себя?”

Вопросы возникали сами по себе, искать ответы на них не было желания, она даже не старалась искать их, а только печально замечала, что на душе становилось всё хуже и хуже. Настя пошла в дощаник, села в углу на узкую лежанку, вытащила из кармана пиджака парабеллум, потёрла ладонью короткий чёрный ствол, молча, с горечью покачала головой. Ей казалось, когда вернётся сюда, на болото, этот парабеллум вызовет и удивление, и расспросы, и она будет рассказывать обо всём серьёзно и независимо... А получилось? Смотрит на него одна, никто этот парабеллум даже не заметил, а у неё даже не было возможности похвалиться своим трофеем, который попал к ней так неожиданно...

“Подарок от Фёдора...”

Мысли эти совсем подкосили Настю. Трагическая гибель Фёдора, которая случилась у неё на глазах, казалась нереальной; в ней всё время жила надежда, что в последний момент Фёдор выскочил из дома, спрятался, уцелел...

Настя устроилась на хрустящей и, как показалось, очень мягкой самодельной постели, укрылась пиджаком Фёдора, закрыла глаза и неожиданно почувствовала дикую, невыносимую усталость. Парабеллум, который она снова положила в карман, плотно прижал пиджак к её телу, ощущая его спасительную тяжесть, она хотела только одного: поскорее провалиться в крепкий сон, чтобы избавиться от этих мучений, чтобы не рвалось сердце, чтобы всё перечеркнуть и забыть, хотя бы на время короткого сна.

Сон сморил перед заходом солнца, но был он не крепкий, а как тот, в лесу, когда она пряталась под старой елью. Точно так же в каком-то уголочке её сознания притаился чуткий сторож, который контролировал каждый звук, каждое движение за пределами её укрытия. И этот часовой сразу поднял Настю, как только у дверей дощаника заскрипели самодельные костыли Конопелько.

Настя привстала, набросила на себя пиджак Фёдора и сидела неподвижно, словно фарфоровая статуэтка, не зная, что делать, что говорить, как вести себя, если Конопелько зайдёт в дощаник. Она понимала, что он направляется к ней, у неё даже тени сомнения не было, что тот войдёт в дощаник.

Вот он поставил на пороге ведро с варёным мясом, потом продвинул его вглубь дощаника и сел на небольшой порожек.

— Я мясо принёс, — глухо сказал он. — Тебе надо поесть.

Ничего не собиралась говорить, а губы сами произнесли коротко и враждебно:

— Не хочу.

— Мясо вкусное. Кабан был молоденький.

— Не хочу, — повторила она по-прежнему враждебно и непримиримо. — Не хочу и не буду!

Он вздохнул, потрогал правой рукой бороду, потом взял костыли, опёрся на них, помотал головой. Снова вздохнул:

— Ты прости меня... Всех нас прости. — Голос его звучал не виновато, а доброжелательно и рассудительно. — Не думай, что Конопелько пьянчуга пропащий, что они такие же... А что пощёчин надавала, так правильно сделала. Моложе ты всех нас, но именно ты нам глаза и открыла. Сила воли у тебя огромная, мужчинам позавидовать. Настенька, поверь, мы тоже не слабаки. Мы тут посоветовались и вот что решили: через недели две мы становимся на ноги — и марш! Идём к линии фронта. Мы бойцы, мы давали клятву, отсиживаться здесь — не наша дорога. Ты пойдёшь с нами, потому что боец ты настоящий. И глаза у нас есть, и сердца не одеревенели, мы понимаем, что к чему. На ноги ты насставишь. Жизнью мы тебе своей обязаны, до конца дней...

Большой твёрдый комок осел в горле, и Настя, чтобы раздавить его, начала есть. Она доставала из ведра кусок за куском, молча жевала, глотая твёрдую, пересоленную дичину.

— Прости нас, что мы эту бутылку нашли, сегодня утром мы её прикончили. И знаешь, почему: проснулся сегодня поздно, почти в полдень, глянул на свои ноги, а красноты нет, как будто её и не было. Спросил у Авдоля, у него то же самое.. Всё оттого, видимо, что всю ночь спали крепким сном, как никогда, душу ничто не точило, не пригнетало. Конечно, если бы тогда, перед твоим походом, ты нам хорошо раны не промыла, не привязала, может, и не случилось такое. Как на исповеди тебе говорю, первую чарку сегодня мы за твоё здоровье подняли. Знаешь, сколько мы пережили, когда тебя не было: решили, что ты больше не вернёшься, и мы тебя больше никогда не увидим... Но говорили о тебе только хорошие слова. Авдоля... Так тот даже заплакал...

Настя снова протянула руку, и Конопелько молча пододвинул к ней ведро, повернул его, чтобы ей удобнее было выбирать. Она не смотрела на Конопелько, а сосредоточенно жевала, уставившись в одну точку, боясь одного — что Конопелько начнёт расспрашивать, где была и что делала...

Она ела, понимая, что расспросы ещё впереди: Конопелько специально так много и торопливо говорит, давая ей возможность, не горячась, всё обдумать. Она почувствовала, что не боится расспросов, что скажет только то, что сама решит рассказать, и никто большего не вправе требовать от неё.

— Дикому кабанчику мы ещё спасибо скажем, — продолжал Конопелько, и по его голосу поняла, что он улыбается. — А за что это? А за то, что помог пересмотреть оружие. Ведь это правда — нажал на курок, а выстрела нет: отсырел порох. Не только у меня так получилось. Так это если на дикого зверя, ну что ж — голодным останешься, а если на зверя, который на двух ногах! Тогда — голова долой. А как говорит Авдоля, без головы на плечах сидеть неудобно, а лежать так совсем нет никакой нужды.

Она слушала Конопелько, жевала медленно, ощущая, что давно насытилась, но не могла остановиться. Настя боялась только одного: чтобы он в третий раз не попросил прощения, потому что стоит ему только это сделать — она бросится к нему, начнёт сама просить прощения, прислонится к нему, и будет ждать, чтобы руки Конопелько обнимали не берёзовые костыли, а несчастную Настину голову, изболевшуюся от скорби, тоски и грусти, которая заполнила сердце.

Прощание с погребом было грустным. Около высокой звонкой сосны Настя оглянулась, посмотрела на низкий, словно придавленный к сизому багульнику сосняк, на печально обвисшие ветки орешины, на зелёную ленту хвоща, которая обозначила все извивы ручья до самого луга, на одинокую грушу-дичку, потом перевела взгляд на кочки вереска, с трудом проглотила накотивший комок в горле... Тоска подступила ещё утром. Едва проснувшись, Настя посмотрела на нары, где все ещё спали глубоким сном. Вчера, позавчера они обсудили всё до мельчайших подробностей, всё, кажется, подготовили как надо, но ей показалось, что всё-таки они не всё просчитали, что-то сделали не так. Свои сомнения она не собиралась высказывать, свои чувства старалась загонять внутрь. Но они всё настойчивее бередили сердце.

Конопелько! Его пронизательность начала тревожить и беспокоить Настю в последнее время — как будто он подслушивал, что тревожит её душу. Однажды, проснувшись, он, не торопясь, слез с нар, приказал Авдошко принести из ручья воды, Буркуну разжечь костер, и когда они исчезли из погребка, тихо сказал:

— Напиши ты записку Грачу... Мы её тут на стояке и пришпандорим: “Отправились в ту дорогу, куда пошёл и ты. Сейф не разминирован”. Он сразу поймёт, что к чему.

— Почему я должна её писать?

— Как хочешь. Могу и я написать. Мне не трудно.

Перебирая в памяти тот разговор, Настя мучительно пыталась припомнить то неуловимое, что мелькнуло в его глазах, что трудно было понять. Понимала, что в её выводах не всё логично, не всё справедливо, и втайне надеялась, что Грач в конце концов вернётся и всё переиначит. Надежда на это жила до последнего мгновения, пока она не дотопала до этой сосны, не оглянулась на болото, с которым суждено расстаться, может быть, навсегда. Навсегда исчезала и надежда на встречу с Грачом, от этого на сердце стало невыносимо тоскливо.

— Прощай, — тихо промолвила Настя, бросая последний взгляд на синее марево над болотом. — Прощай, болотинка... И дощаник наш, прощай, и погреб, тоже прощай...

Как в ответ на её слова, где-то над лесом раздался сухой клич ворона, и Насте показалось, что там, за вершинами сосен, кто-то крикнул издали: “Г-г-ра-ач... Г-г-ра-ач...”

Она резко тряхнула головой и стала догонять короткую цепочку людей, что мелькали за соснами.

Сейчас на знакомой и действительно не раз хоженной дороге Настя не думала о предстоящем далёком маршруте, не думала о железной дороге, переходить которую они рассчитывали, когда стемнеет. Неожиданный разговор с Конопелько не просто помог отбросить тоску, что бередила сердце с самого утра, а перевернул все её мысли и мечты. Да, война перепутала всё, но война и свела её с Грачом. И сейчас он в её сердце.

Мысли эти согрели и успокоили. Настя шагала быстро, изредка оглядывалась на три фигуры, которые двигались следом с равным интервалом друг от друга.

Настя двигалась в голове цепи, шла торопливо, не озираясь. Она словно убегала от того узкого люпинового клина, на краю которого был похоронен Вахтанг. Много раз ночью и при ярком свете дня проходила она около этой старой берёзы, и каждый раз чувствовала тоску и печаль, когда видела почерневший столбик на могиле Вахтанга. Скорее бы Залесье. Как же опротивели ей эти лесные дороги и тропинки! Миновали знакомый перекрёсток, Настя пошла напрямую, направляясь к тому месту, где когда-то они с Шаплько бросили подводу. Вон уже виден тот раскидистый куст орешника. А вот след конских копыт, вот надломленный и засохший черничник, вот коричневый на изломе папоротник. Из деревни донеслись три слабых выстрела.

— Ого-о, — протянул Конопелько. — Салют в нашу честь... — И добавил, обойдя куст орешника, словно отодвинул Настю с той стороны, где прозвучали выстрелы с равными интервалами. — И где, как ты думаешь, стреляют?

— От винокуренного завода, — сказала Настя. — Школу по пьянке немцы сожгли. Так теперь комендатура у них на винокуренном заводе. Я на той неделе кладовщика отыскала, он мне всё это и рассказал. Мы от него тогда с Шаплько ядрицу привезли. Как стемнеет, зайдём к нему. Он расскажет, что тут делается. Я сюда давно не приходила, многое могло измениться.

Снова с той стороны прозвучал слабый выстрел. Одиночный и какой-то испуганный, тупой.

— На заводе, говоришь? — спросил Конопелько и тут же сам себе и ответил: — Точно. Ошибки нет. В том же направлении. Из парабеллума стреляют.

— Наверное, новый комендант развлекается. Банцевич говорил, что во время обеда, выпив рюмку коньяку, комендант выходит во двор и стреляет по изоляторам на столбах.

— Шаплыко около завода машина тянула?

— Но... Там дорога на станцию.

— Значит, мимо завода нашего Шаплыко тянули, — снова вернулся к прежней мысли Конопелько. — А дом твоего Банцевича от леса далеко?.. Это то, что нам надо, если он последний в посёлке, рядом с лесом. Тогда соображаем такую диспозицию, — в голосе Конопелько пробились игривые нотки. — Шуруем опушкой, чтобы напротив завода стать. Дальше ты, Настенька, пойдёшь к этому бывшему кладовщику и позовёшь его сюда, к нам.

— Я пойду без оружия, как будто беженка. Банцевич говорил, что их много теперь ходит. Даже из Полоцка и Витебска приходят, меняют вещи на продукты...

— Он нам нужен, Настенька, — перебил её Конопелько, лицо его померкнуло, узкие брови выгнулись. — Он нас ночью к заводу удобной дорогой подведёт.

— Зачем нам этот завод? Мы его обойдём и станцию обойдём, пусть Банцевич нам даст нужное направление, может, новости какие узнаем. А где железная дорога, я знаю.

Конопелько неожиданно рассмеялся:

— Я хочу, чтобы этот поганый фашист больше не развлекался. Поэтому на обсуждение ставлю следующий план, — лицо Конопелько снова померкнуло, брови вытянулись. — Подойдём ночью к той комендатуре и зашмалюем в окна гранаты. А дальше — руки в ноги и пошёл. В бою с нашими силами не больно-то разгонишься. Вот их гранатки им и отдадим. Это им будет за Шаплыко. Ну не могу я просто так отсюда уйти... Я — солдат. И, как пел Чапаев, “я солдат ещё живой...”. И хотя вы меня около болота выбрали комендантом, я приказа давать не буду. Пойдут добровольцы. Кто?..

— Да все пойдём, — поспешно ответила Настя, как будто испугалась, что кто-то может дать согласие первым.

— Конечно...

— Конечно, пойдём, — следом за Авдошко, немного помедлив, проговорил Буркун.

— Это ещё прошлый раз, когда мы с Шаплыко ехали, он всё смеялся: мол, с балкончика этого начальство рабочим рассказывало о вреде алкоголя. А мне, помнится, он говорил, что тут работает только тот, кто не пьёт.

— Пусть тебя это не волнует, — перебил Буркуна Конопелько. — Кого берут на винный завод, а кого не берут. Тебя не возьмут, если бы даже и просился.

Буркун громко хохотнул:

— А я и сам туда не пошёл бы, даже если бы под конвоем вели.

Шутливое это признание Буркун сделал таким искренним и дружеским тоном, что трудно было понять, где он шутит, а где говорит правду.

Конопелько приказал всем остановиться, но Настя настояла на том, чтобы в разведку пойти сейчас же, не откладывая на вечер. Вечером людей на улице посёлка будет мало, и каждый новый человек сразу же бросается в глаза.

Конопелько проводил её к густым ольховым зарослям, откуда начиналась низина, за которой немного вдалеке торчали трубы домов. Он сел на чёрный пенё старой ольхи, положил автомат на колени:

— Здесь я тебя и буду ждать, — сказал Конопелько и попросил, выставляя пальцем по ремню автомата: — Только ты не бойся. Сказала, и сразу назад. Или лучше вместе и топайте. Он пусть топор возьмёт, как будто за дровами в лес...

— Главное, чтобы дома был.

— Да дома он. Я уверен...

Конопелько, однако, ошибся: Банцевича дома не было. На двери висел замок, на деревянном, покрашенном когда-то в каштановый цвет крыльце была пыль, Настя поняла, что хозяев в доме не было уже несколько дней, и

быстро пошла дальше. Она пошла мимо завода по улице, глянула на голубой балкончик красивого деревянного дома. Около входа, словно высеченный из камня, неподвижно стоял часовой в каске, с короткоствольным автоматом в руках. Заметила, что двери на балкончик открыты и около перил стоит широкое кресло, застеленное блестящей накидкой. По левую сторону строения работали какие-то мужчины, все в гимнастёрках без ремней — вкапывали столбы, на которых от дороги была уже натянута проволока, — в одинаковых брюках рыжего цвета. В отдалении от них прохаживался немец в пилотке, с толстой палкой. Ей показалось, что у немца не было левой руки, но вот он подбежал к мужчине, который присел на бревно, и Настя увидела, что левая рука, спрятанная за спиной, поддерживает автомат.

“Пленные... Это же работают наши пленные красноармейцы...”

Настя увидела, как немец подбежал к солдату и изо всей силы ударил палкой. Пленный упал, немец молотил его палкой, что-то кричал, потом ударил сапогом в лицо, откатил от бревна, словно ненужный чурбан. Настя передёрнулась от нервной дрожи, она возникла внезапно в плечах, поползла к затылку, обвила тугой верёвкой шею под подбородком. Она сжала горло рукой, дрожь отступила к затылку, поползла по спине. Настя перебежала низиной и вскопчила в ольховые заросли.

Конопелько сидел всё на том же месте, в той же позе, молча смотрел на Настю. Она торопливо сообщила обо всём, что увидела, он, выслушав её, некоторое время молчал.

— Обойдёмся без помощников, — проговорила Настя, понимая, что Конопелько недоволен новостями и словно упрекает, что она вернулась одна. — Ограждение они сегодня не закончат. За штабелями брёвен мы сможем добраться незамеченными. Я проведу, — и добавила любимую поговорку Конопелько: — Як мага быць, подведу к господину коменданту... Вы что, не верите?

— У меня совсем не о том мысли... Подумалось вдруг... Да нет, это совсем нереально... Это не то, что комендантский домик... Охрана там, видимо, посильнее. И ничего о том лагере военнопленных мы не знаем. Было бы неплохо тех горемык — на волю.

— Банцевич говорил, что лагерь недалеко от железнодорожного вокзала. Туда мы никак не пройдем.

— Жаль, нет твоего Банцевича. Последний раз, когда ты у него была, что он говорил? Вообще, не слишком ли ты ему доверяешь?

— Я ничего конкретного о нашем месторасположении не говорила. А его сведения точные. Говорил, что комендатуру переведут на станцию, а тут останется только жильё коменданта. Оно так и есть. Машин стало меньше, и только один часовой стоит.

— Что будем делать, если и комендант наш не прикатит в свой домик?

— Я думаю, мы это сразу узнаем. Банцевич говорил, что у них каждый вечер гулянка. Заводят три патефона, и на каждом своя мелодия играет.

— Весело они, однако, живут. Не то, что нам в том погребе было. Лежи да комаров слушай. — Конопелько безнадежно махнул рукой. — Но то было и сплыло и уже не вернется. Здорово будет, если мы комендантику комара подпустим. — Конопелько потрогал деревянную ручку гранаты, что торчала за ремнём, и резко приказал: — Приведи наших сюда...

До вечера они лежали в молодом орешнике. Сумерки опустились на землю рано, из-за леса выплыли волны серого тумана и мягким одеялом накрыли всё вокруг. Как этот серый туман, текли и мысли Насти. Теперь план Конопелько — забросать комендантский дом гранатами — не казался ей блестящим. Глубоко в душе жила надежда, что Конопелько всё же отменит свой приказ — тем более что это был вовсе и не приказ! — они, в конце концов, перейдут железную дорогу, найдут гравийку, что ведёт в Полоцк, и пойдут дальше. К утру они могли бы быть уже недалеко от Полоцка. А там — знакомые места.

Настя даже вздрогнула, когда услышала сдавленный голос Конопелько:

— По-однимайся! В колонну по четыре становись! — Он внезапно сменил тон, заговорил озабоченно и рассудительно: — Отходим сюда. В случае даже самой крайней невыкрутки — всё равно сюда! Тут собираемся, подводим итоги. Повторим задачу. Буркун, твои окна?

— Те, что от станции.

— Авдошко, твои?

— От сада.

— Твои, Настенька?

— Отсюда, от леса. С этой стороны, где лежат дрова.

— Твои, Конопелько? — И сам себе ответил: — Мои — от дороги. И часовой на мне. Я ползу на него. А каждый из вас — к своим окнам. Моя очередь — всем команда. Повторяю опять — бросать только наверняка. Не всади гранату в окно — пиши пропало, потому что она тебе по пяткам врежет. Всем ясно? Тогда — вперёд! Порядок движения, как договорились: за Конопелько — Авдошко, за ним — Буркун, а за Буркуном — Настенька... Здесь тоже всё ясно? Тогда — вперёд!

Настя не волновалась до той поры, пока впереди не высветились два ярких проёма окна. Они возникли внезапно, как будто вырвались из-за стены тёмных деревьев, что росли в конце низины. От неожиданности Настя споткнулась, зацепилась ногой за мягкий кротинный бугорок, свет дёрнулся и стал ещё ярче. Чтобы не упасть, Настя упёрлась рукой в мягкий бугорок, непроизвольно выпустила гранату, та упала в траву, как будто кто-то туда её втянул. Настя обшарила траву, нашла гранату и сильно сжала деревянную ручку.

Тёмные фигуры за это время отделились, Настю охватил ужас. Они что, побежали вперед? А если бы она сломала ногу? Это всё может закончиться очень плохо. Тогда зачем она поддержала Конопелько. Нет, он хорошо всё продумал. Надо отомстить за Шанлыко... И за себя она отомстит. Увидеть бы того немца, что выкручивал ей руки на пригорке... Она шла быстро, почти бежала, едва не ткнулась Буркуну в спину. Остановилась, спросила шёпотом:

— Что случилось, ведь ещё далеко?

— Где же далеко? Сад окончился, видны уже столбы ограды, поблескивает проволока, горбятся окоренные, белые столбы. Их осталось совсем мало. Вряд ли можно укрыться за ними. Значит, придётся отсюда ползти...

— К брёвнам продвигаемся, пригнувшись, дальше по-пластунски. Гранаты под ремень, за спину, — тихо скомандовал Конопелько и обошёл каждого, потрогав гранаты. Вдруг весело хмыкнул: — А патефоны действительно режут. И спасибо нашему комендантику, что завёл их. Ползти будет легче. На нас, между прочим, твои окна, Настенька смотрят.

— Со своими окнами я справлюсь.

— Пусть тебе и всем нам повезёт. Пошли!..

К брёвнам они подошли фронтом, Настя оказалась теперь в его центре, идти, хотя и сгорбившись, было легко. Тяжёлое началось сразу, как только руки легли на росистую траву. Настя машинально глянула на часы и неожиданно остро и ясно вспомнила тот момент, когда Грач надел их на руку и застегнул ремешок. Как он тогда говорил? Часы чик-чик, а Грач — топ-топ, к Насте, мол, топтать будет.

Разве сейчас ей надо об этом думать? Скоро бой, комендантский дом совсем близко. Как ярко светит окно, в которое она должна бросить гранату. Всё постороннее — вон из головы, только бы не промахнуться... Всегда, когда она уходила из лагеря и на руках у неё были часы Грача, ей везло. Ведь тогда на пригорке она была без часов. И в предбаннике Фёдора она тоже была без них. Вот глупая, опять отвлекается. Смотри вперёд на окно!

Настя ползла, не обращая внимания на то, что вся мокрая от росы. Неожиданные воспоминания о Граче, так не вовремя ворвавшиеся в её сердце здесь, на росной траве за садом, как ни странно, принесли спокойствие и уверенность в своих действиях. Грач как будто был рядом и подсказывал ей: «Смотри внимательно, рассчитай расстояние до окна, когда будешь бросать гранату, размахнись как следует...»

Окно совсем близко. Почему свет в нём какой-то мутноватый, как будто придушен? Наверное, занавески висят... Да, занавески. Вот кто-то дёрнул

их — свет яркой полосой ударил в глаза. Надо доползти до границы этой яркой полосы и затаиться в ожидании сигнала. Нельзя попадать в световую полосу, она сразу же станет заметной. Слышна немецкая речь около машин. Три легковушки стоят у входа. Одна так едва на крыльцо не влезла. Гранату надо готовить. Конопелько уже ползёт по левую сторону машины. Как-то странно у него светится спина... Это же со второго этажа свет, как это он попал в световое пятно? Нас предупреждал, а сам ведёт себя так неосторожно. А кто это там из-за двери, словно коршун, наступает тенью на Конопелько?

Немец! Это же немец! Грудь белая, оттого что френч расстёгнут!.. Сейчас он бросится на Конопелько сзади, а тот ничего не видит. Не видит, конечно же, потому что немец подкрадывается по тёмной полосе!..

Эта мысль возникла уже в движении. Словно подброшенная взрывной волной, Настя рванула наперерез тени с белой грудью, ткнула карабин во что-то мягкое, податливое, как резина, и, с яростью нажав на курок, выкрикнула протяжно и хрипло, как будто её схватили за горло:

— Э-у-у-у!..

И этот сдавленный крик заглушил выстрел. Пламя из дула карабина, которое отскочило, как будто вырвалось из-под мышки немца, высветило толстую пузатую бутылку в руке немца и оглушило Настю. Пламя перелилось в яркие огненные струи, которые бросал на блестящее стекло машины автомат Конопелько.

— Грана-а-а-ты! — заревел Конопелько.

Настя отскочила назад, отброшенная этим яростным, злым приказом. Первую гранату она бросила в правое окно, успев заметить, как брызнуло во все стороны стекло. Другую бросила в левое окно, которое было почти тёмным, и ей показалось, что граната не долетела до стекла. С правой стороны сыпануло гривастое пламя, красное, с какой-то дивной белой стрелой в центре, эта стрела вонзилась Насте в левое плечо, сломалась и, словно железный раскалённый бур, врезалась в позвоночник, прокатилась по нему, высекая колочки.

Настя ещё успела заметить фигуру Конопелько, высокую, мужественную, хорошо освещённую белым огнём, от его фигуры вверх, к балкону, тянулась огненная нить.

“Это он по балкончику строчит. Почему он не бросает гранаты?!”

Хотела закричать, закричать так же яростно, как кричал Конопелько, но губы лишь слегка шевельнулись, она успела только почувствовать, как порыв теплого, но странно чёрного, как сажа, ветра залепил ей глаза и губы...

Настя пришла в сознание только утром и на короткое время: открыла глаза, оглядела нары, на которых лежала, увидела знакомый стояк, поняла, что находится в знакомом погребе, рядом с ней сидит Конопелько. По правую сторону от него стоит Авдошко. Конопелько, заметив, что Настя открыла глаза, сделал знак Буркуну. Буркун сразу исчез, как будто его ветром сдуло. Его стремительное исчезновение взволновало Настю:

— Куда он побежал? — спросила она и сразу застонала от острой, невыносимой боли, которая возникла в плече, мгновенно перетекла под левую лопатку, парализовала всё тело.

— Водички принесёт. Холодненькой! Ты попьёшь и поздоровеешь, — как-то суетливо проговорил Конопелько и, склоняясь над Настей, добавил: — И сразу же двинемся дальше...

Какая-то странная парализующая слабость связала ноги, руки, она не чувствовала их, не могла пошевелить даже пальцем. Но мысли были чистыми, ясными, она вспомнила недавний бой и всё поняла.

“Я потеряла много крови... Меня несли сюда раненую. Перевязали плохо”. Она посмотрела на руку, которая была мокрой от крови, кровь была и на полу, значит, рана кровоточит.

“Вторую гранату я всё же не добросила. Потому всё так и случилось”. Спросить о том, чем закончился бой, там, около комендантского домика, у неё не хватило смелости.

— Нет, Настенька, нет! — заговорил Авдошко. Присев на нарах напротив Конопелько, склонился над ней. — Ты бросила гранаты точно, и они попали в окна. Ты хорошо прицелилась.

— А чего же тогда я...

— В тебя выстрелил какой-то гад, — торопливо прервал Конопелько. — Выстрел и взрыв были одновременно. Его там разнесло на кусочки и всех, кто был около тех окон. Вот выстрелить он всё же успел... Но и мы успели. Угли и пепел там одни теперь. Всё это благодаря твоей смелости. Как только ты его высмотрела?.. Если бы ты в него не выстрелила... И чего, холера на него, было ему там, на углу, стоять? Вот же стоял, да ещё с двумя бутылками шампанского...

— Может, хотел тебе налить шампанского, — как-то вымученно пошутил Авдошко. — Чтобы за встречу дерябнуть. По душе ты ему был, вот же к Настеньке не кинулся, как будто знал, что она не пьёт...

— Рана у меня ужасная?

— Да мелочь, Настенька, — с деланным смешком ответил Буркун. Он стремительно влетел в погреб с котелком в руке. — Вышей! Вот увидишь, встанешь на ноги через недельку, если не раньше. Это отвар, которым ты нас поила. Я насобирал травы и наварил. А потом в ручье остудил. Хороший напиток! Только ты не двигайся, лежи тихонечко. Я тебе из ложечки, из ложечки буду давать, — он торопливо вытащил из кармана ложку...

— Нет, я хочу из котелка. Помогите кто-нибудь встать. Мне надо сесть.

— А зачем тебе садиться? — Конопелько предостерегающе выставил перед собой руки, осторожно придерживая Настю за правое плечо, как будто боялся, что она может действительно вскочить и сесть на нарах. — Ты должна лежать, набираться сил. Не надо тебе двигаться.

— Из ложечки хорошо, из ложечки просто, даже очень удобно, — настаивал Буркун и лил ей в рот коричневый отвар зверобоя. — Вышей хотя бы капельку. А может, с шоколадом будешь? Я из машины четыре плитки выхватил для тебя — на сиденье лежали.

— А я, между прочим, только сейчас сообразил, чего тот гад около угла отирался, — продолжал Конопелько, отводя в сторону руку Буркуна с плиткой шоколада. — Ну не хочет человек сладкого. Отцепись. — И снова вёл свое, словно только это его теперь и занимало. — Там на углу стояла какая-то посудина на земле. В ней — бутылки охлаждались. Вот он за ними и вылушился из дома.

— Я что, сама сюда дошла? — спросила Настя и неожиданно отметила, что лицо Конопелько начало вдруг отдаляться.

— Мы ехали сюда. В Залесье подводу взяли. И коня нам запрягли. Это Авдоля наш постарался...

Голос Конопелько слабел, отдалялся, лицо отплывало, становилось прозрачным и серым. Какими-то невыразительными становились фигуры Авдошко и Буркуна, они медленно колыхались, словно кто-то их раскачивал. Слабость охватила и заполнила всё тело. Настя попыталась пошевелить руками, но они её не слушались.

— Нужен врач, я это чувствую. Вы не справитесь...

— Найдём врача, сегодня же привезём, — быстро и горячо заговорил Авдошко. — Только ты лежи, не волнуйся. Чтобы сила была, помнишь, ты нас этому учила?

— Если я умру, вы меня никуда не везите отсюда. Похороните у сосны, в вереске. Там, где поворот...

Говорить больше не было сил. Она глянула на Авдошко: он вытирал слёзы, смотрел в окошко, откуда пробивался в погреб короткий солнечный луч, слышала голос Конопелько, сильный и неровный. Настя удивилась, что голос звучит откуда-то с высоты, как будто Конопелько сидел не на нарах, рядом, и гладил её руку, а взобрался на потолок, зацепился там за что-то и завис, медленно покачиваясь. Настя прищурила глаза, и Конопелько куда-то исчез. На его месте теперь был Авдошко, он медленно шёл ей навстречу, и в его огромных заплаканных глазах ярко светились непонятные огненные светлячки. Один из них вдруг порхнул к Насте, сел на грудь, бил крыльями по рёбрам, рёбра гнулись, из них выширал, лез в горло чёрный, гривастый туман. Настя жадно глотала его и чувствовала, что становится прозрачной, бестелесной и плывёт в глубь этого чёрного шлейфа, который наматывается на блестящую острую пику.

Оттуда, из-под белой блестящей пики, неожиданно зазвучал спокойный и ласковый голос Грача. Грач звал Настю, и она пошла к нему, радуясь, что чёрный шлейф мягко ложится ей под ноги, и ноги легко, беззвучно вдавливают гривастый туман в землю.

Потом на месте Грача стояла мама... Это было так естественно, и так же естественно лились слова их сердечного, задушевного разговора. Правда, они были глуховатыми, отдалёнными — где-то совсем близко татакали вагонные колёса.

“Ты прости меня, мамулечка. Я прибежала, а поезда уже нет”.

“Как же это нет? Он ждёт нас. И не надо было тебе бежать. Павлик сказал, что на машине сюда тебя привезёт: дорога к смолокурне хорошая, словно шоссе”.

“Мамочка, а ты не знаешь, где мой Грач, почему он не приходит ко мне?”

“Доченька, нет его рядом со мной. Ты потерпи, он спешит к тебе, только дождись его... Ты его держись, дочушка, — он тебя в обиду не даст, у него сердце доброе и глаза ласковые. Он торопится к тебе, но дорога у него длинная, тяжёлая. Ты посмотри, как он меня устроил хорошо в вагоне. И водицы холодненькой мне принёс. Полный бидончик!”

Из-за сосны неожиданно плеснуло багровое пламя с удивительным белым копьём в середине; копьё падает на вереск, и по нему бежит Конопелько, прижимает копьё к земле, крутит, пытается сломать; копьё вырывается из рук, он бежит по вереску и вдруг подскакивает, плывёт над верхушками сосен, что стоят на болоте густо, словно стена.

— Не умирай, Настенька! Живи! Почему пуля не меня резанула? Почему?..

Голос Конопелько возник внезапно, возник совсем близко, звучал выразительно, на отчаянно высокой, пронзительной ноте.

Чудак Конопелько! Да не собирается она умирать. Просто Грач во-он стоит, зовёт её. Вот она и пойдёт к нему, а потом вернётся, сделает им перевязки и приготовит ужин...

Похоронили Настю, как и просила, в вереске, у сосны, что росла на повороте. Вернувшись к дощанику, они сидели молча, не думая о том, что предпримут завтра, смогут ли снова повторить тот путь, который так трагически прервался в ту роковую ночь. В их гнетущий, молчаливый круг ворвался неожиданный звук, он приближался, и уже можно было различить конский топот. В следующий миг из-за поворота дороги показался Грач.

Специальная развебивательно-диверсионная группа, которую он возглавил и в состав которой вошли четырнадцать человек, двигалась следом на четырёх повозках с боевым снаряжением. На взмыленном коне Грач подскочил к дощанику, спрыгнул на землю, по очереди облапил всех троих, что повисли на нём, крикнул радостно в сторону погребца, над входом в который висела поблёкшая на солнце трофейная плащ-палатка:

— Настя? Чего прячешься? Я ещё издали увидел, как ты мелькнула в окошке!..

Буркун махнул в сторону сосны и глухо сказал:

— Там Настя. Похоронили только что.

— Ка-ак? — не спросил, а выдохнул Грач. — Как это случилось?..

Грач медленно, как будто через силу шёл не по тропинке, а напрямик, по вереску. Около могилы он снял с себя новенький автомат, осторожно положил его на вереск, потом медленно опустился на колени и долго стоял так на коленях, неподвижно, словно окаменел.

Над болотом заходило солнце, огромное и багровое. Его лучи скользили по блестящей стали автомата, по густому лиловому соцветию вереска, били в ствол сосны, как будто высвечивали её изнутри. Звенели дикие пчёлы, на могильный холмик ложился лиловый, местами кроваво-бордовый отсвет, и казалось, что солнечные лучи слизывали его с вереска и медленно угасали в приглаженном руками песке...

Впереди были четыре года страшной войны. Грач не боялся смерти, он шёл ей навстречу, но смерть, потрясённая мужеством и отвагой партизанского командира, обходила его стороной...